

Алла Шаховская

«Я прошла Освенцим»

Научный редактор *Л. Г. Прайсман*
Литературный редактор *М. Астина*



Центр и Фонд «Холокост»
Издательство «МИК»
Иерусалим — Москва, 2015

УДК 63.3(0)62
ББК 94(100)“1939/1945”
Ш32

«РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА»

И. А. Альтман (отв. редактор), А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский,
Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов (Украина),
Д. И. Полторац, Е. С. Розенблат (Беларусь), Л. А. Терушкин (отв. секретарь),
К. Феферман (Израиль), М. В. Шкаровский, д-р Арон Шнеер (Израиль)

В оформлении обложки использована работа Гриши Брускина
«Воспоминание об Альгамбре» 2001–2003 год, крашенная бронза

Шаховская А.

Ш32 «Я прошла Освенцим» / Под ред. Л. Г. Прайсмана,
М. Астиной. — М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2015. —
104 с., цв. вкл.

ISBN 978-5-87902-321-3

Книга Аллы Шаховской посвящена ее матери, Берте Сокольской,
польской эмигрантке, чудом уцелевшей в гетто Белостока и Освенциме
и оказавшейся после войны в Советском Союзе.

В этом небольшом произведении история евреев Польши и России
XX века передана через водоворот событий, который затягивает и этих
двух женщин. Книга написана хорошим литературным языком, с боль-
шим чувством юмора и детальным описанием событий. Она будет
интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей.

УДК 63.3(0)62
ББК 94(100)“1939/1945”

Серия издается при поддержке Российского еврейского конгресса

- © Алла Шаховская, 2015
- © Научно-просветительный Центр «Холокост», 2015
- © Гриша Брускин, изображение скульптуры
на обложке, 2003, 2015
- © Дизайн обложки — Дмитрий Черногаев, 2015
- © Издательство «МИК», оформление, верстка, 2015

ISBN 978-5-87902-321-3



בס"ד

יושב-ראש הכנסת
Speaker of the Knesset

ירושלים, יום ראשון, ה' באלול, התשע"ד
31-го августа, 2014
סימוכין: 03613614

Всем заинтересованным лицам

Отзыв о книге Аллы Прайсман "Я прошла Освенцим"

В истории еврейского народа Катастрофа является самым страшным
событием. Каждое воспоминание это уникальное свидетельство.

Книга "Я прошла Освенцим" является не только подробным рассказом
Берты Сокольской, прошедшей дорогой смерти через немецкие
концлагеря, но и исповедью ее дочери, Аллы, выросшей под сенью этих
рассказов, под сенью Катастрофы. Польская еврейка, заброшенная
судьбой в Ялту, Берта быстро поняла, какую чудовищную ошибку она
совершила, приехав в Советский Союз. Она жила прошлым, которым
боялась с кем-либо поделиться в окружавшей ее антисемитской
обстановке, единственным слушателем стала ее дочь. Книга является
первым воспоминанием представителя второго поколения жертв
Катастрофы, написанном на русском языке. В книге удивительным
образом переплетается рассказ Берты с детским восприятием этой
трагедии глазами ее дочери Аллы. Это впоследствии повлияло и на
судьбу Аллы, которая в первой половине 80-х годов вместе с мужем стала
участником борьбы за выезд евреев из Советского Союза и в 1985 г.
вместе с мамой и своей семьей приехала в Израиль.

В судьбе этих двух женщин отразилась история восточноевропейского
еврейства 20-го века. Я считаю, что книга, в которой использованы
документы и фотографии позволяет больше узнать и глубоко
прочувствовать минувшие события, станет важным свидетельством
нашей истории для многих поколений читателей.

С уважением,

**Председатель Кнессета
Юлий Эдельштейн**

*Моей маме, Берте Сокольской,
жизнь которой стала отражением
трагических событий XX века*

Глава I. Мама и я

Мне всегда хотелось понять, как влияет на ребенка история жизни его родителей. Как сказываются на формировании человека окружение, обстоятельства, исторические процессы, из каких компонентов складывается судьба человека? В этой книге я всматриваюсь в жизненный путь моей матери, прошедшей Катастрофу, пытаюсь понять, как ее судьба определила мою, и рассказываю о своем участии в борьбе за выезд советских евреев в Израиль. Сквозь призму истории своей семьи я пытаюсь увидеть и понять страшные события XX века.

В названиях воспоминаний часто упоминается дорога, путь, — например, в воспоминаниях Э. Гессен «Дороги, которые мы не выбираем», в книге А. Бруштейн «Дорога, которая уходит вдаль» и во многих других. Я пыталась показать не столько дорогу, сколько переплетение судеб, взаимное влияние разных поколений, воспроизвести отдельные картины или сцены, воссоздать фон, на котором происходили события, — в надежде найти ответ на столь давно мучившие меня вопросы.

Я родилась 23 октября 1956 года в городе Ялта. Мой отец, Григорий Леонтьевич Шаховской, был довольно известным киносценаристом, — он написал, в частности, сценарий фильма «Зори Парижа». Моя мама — Берта Сокольская — польская эмигрантка, родившаяся в 1921 году в Белостоке, в Польше. В 1941 году она разделила судьбу большинства польских евреев: сначала была заключена в гетто, а после его ликвидации отправлена в немецкие лагеря смерти — Майданек*, Освенцим**, а затем Берген-

* Майданек — лагерь массового уничтожения в предместье польского города Люблин. Создан нацистами в сентябре 1941 г. В Майданек отправляли транспорты с евреями из Польши, Чехословакии, Нидерландов, Греции. Большинство прибывших были уничтожены в семи газовых камерах или расстреляны в ближайшем лесу. Тысячи евреев Белостока были депортированы в Майданек в августе 1943 г. Многие трудоспособные заключенные использовались на работе в самом лагере. Майданек имел филиалы: Ближин, Радом, Будзынь и другие. Всего в лагере было уничтожено около 366 тыс. человек: более 200 тыс. евреев, около 100 тыс. поляков, тысячи советских военнопленных. Красная армия освободила Майданек 24 июля 1944 г. В живых осталось несколько сот узников.

** Освенцим (нем. Аушвиц) — крупнейший нацистский лагерь смерти. Был основан по приказу Г. Гимлера в конце апреля 1940 г. в предместье небольшого провинциального городка Освенцим, в 60 км от Кракова. Первые польские заключенные прибыли в Освенцим в июле 1940 г. В 1940 г. был построен Освенцим II Биркенау на территории близлежащего села Бжезинка и Освенцим III на территории села Моновиц. В Освенциме были построены четыре огромных крематория с газовыми камерами. В январе 1942 г. гигантская фабрика смерти была запущена в производство. В Освенцим направляли транспорты с евреями из Польши, Франции, Словакии, Нидерландов, Югославии, Бельгии, Норвегии, Греции и Италии. В 1942–43 гг. в Освенцим были депортированы евреи из Германии и Австрии. В мае 1944 г. началась транспортировка венгерских евреев. В Освенциме содержались также цыгане, поляки и советские военнопленные. Согласно последним

Бельзен*, освобожденный в апреле 1945 года британскими войсками.

Заключив перед моим рождением договор с ялтинской киностудией (речь шла о сценарии фильма о художнике И. К. Айвазовском), мой отец вместе с мамой приехал в Ялту. Через несколько месяцев родилась я. Рождалась я долго, родовой деятельности у мамы не было — результат перенесенной в концлагерях тяжелой дистрофии. Перед отцом поставили выбор — кого оставить в живых, меня или маму, он выбрал маму, но неожиданно для всех я все-таки родилась, живая и здоровая. Меня назвали Аллой: маме это имя казалось чисто русским, оно не напоминало ни еврейские, ни польские имена, а отец выбрал его в честь своей молодой любовницы, с которой он нас с мамой через год и покинул.

Мы жили в двенадцатиметровой комнатке в коммунальной квартире в Ялте. Две другие комнаты занимали семья украинцев

оценкам историков Катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 млн. человек, из них 80% евреев (1 млн. 270 тыс.). Заключенные Освенцима трудились на различных промышленных предприятиях, созданных на территории лагеря. Немцы использовали для нужд Рейха личные вещи заключенных. Утилизации подвергались и останки жертв: зубы из драгоценных металлов, женские волосы, использовавшиеся для набивки матрасов, и т. д. Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 г. В живых осталось 7,5 тыс. узников.

* Берген-Бельзен — концентрационный лагерь, созданный близ Ганновера в Германии в апреле 1943 г., прежде всего для евреев, которых нацисты предполагали обменять на немецких военнопленных. Но лишь немногие евреи смогли получить таким путем свободу. В начале условия содержания в Берген-Бельзене были лучше, чем в других нацистских концентрационных лагерях. Однако в 1944 г. положение резко изменилось. По мере отступления немцев число заключенных Берген-Бельзена стремительно возрастало, а условия содержания значительно ухудшались. Ранней весной 1945 г. в Берген-Бельзен были доставлены узники из Освенцима (марш смерти). В лагере вспыхнули эпидемии. Медицинская помощь отсутствовала, выдача питания заключенным была прекращена. Британские войска освободили Берген-Бельзен 15 апреля 1945 г. До освобождения в Берген-Бельзене умерли 37 тыс. еврейских заключенных. После освобождения скончались около 14 тыс. тяжело больных.

переселенцев из Донецкой области и соседка-алкоголичка с двумя детьми, которая беспробудно пила и водила мужчин. Из ее комнаты резко пахло мочой, грязью и водкой. Кончилось тем, что вместе с очередным любовником она отравилась уксусом и умерла в больнице, детей же отдали в детский дом. Кухня была общая, и украинская пара без конца скандалила с моей мамой, обрушивая на нее всевозможные ругательства; самым обидным и для меня самым пугающим было «грязная жидовка». Чтобы избежать этих скандалов, мы с мамой прятались у себя в комнате и старались не покидать ее без особой необходимости. Тихо, по-воровски мы выскальзывали в туалет или на кухню и при появлении наших мучителей прятались обратно. В квартире напротив жила соседка Машка. Маме она проходу не давала, ее шипящее «жидовка» преследовало нас, как только мы входили в дом. С ней связано одно из самых первых, самых ярких моих воспоминаний, — мне было тогда четыре года. Вечер. Я сижу в комнате с сильнейшей ангиной и перевязанным горлом. Вдруг раздается крик мамы: «Помогите!» Я выбегаю на лестницу. Внизу в конце лестничного пролета лежит моя мама, лицо залито кровью, а по нашей лестничной площадке мечется с проклятьями Машка: это она столкнула мою маму с лестницы. Затем я помню, как — уже в нашей комнате — мама сидит на диване, вокруг соседки, врач обрабатывает ей лицо, она кричит: «Мои глаза! Мои глаза! Спасите мне глаза!» — и все лицо ее залито кровью (стекла очков разбились при падении). А я кричу — хриплым, осипшим голосом. Меня уговаривают выпить теплого молока с медом. Уже стемнело, передо мной в окне светятся огни соседнего дома, я спокойна, но почему-то мой крик летит и гремит в этой темноте, пролетает мимо освещенных окон и уносится в темноту, в нем весь мой ужас, страх и отчаяние. А соседи никак не могут оставить меня в покое.

Мама! Моя единственная защита от страшных, злобных людей. Только мама так беззаветно любит меня, у меня нет отца, он нас бросил и даже не вспоминает обо мне, у меня нет никого, кого я могла бы так сильно обнять, зарыться и спрятаться.

Ялта была окружена красивейшими парками и морем. Городские парки — Приморский, Массандровский, с огромными платанами, каштанами, кипарисами и кедрами, с теннисными аллеями и удобными скамейками. Каждый свободный день мы уезжали в эти парки.

Выбирали какой-нибудь уютный уголок, — то с благоухающими чайными розами, то с фиолетовой или белой глицинией, то с разноцветными акациями. Садились на скамейку и уходили в другой мир, очень далекий, очень призрачный и такой реальный — мир моей мамы.

Польша, Белосток, 20-е годы. Большой дом на улице Сенкевича (Сенкевича 39). В доме много комнат и большой сад. У каждого члена семьи своя комната. Старший брат Евсей, сестра Мирьям и любимый, вечно смеющийся светлоглазый брат Моня. Берту все любят. Она самая маленькая из всей огромной семьи Сокольских, дочь от второго брака. Ее отец Ефраим женился поздним браком на своей племяннице Гутте. 15 декабря 1921 года у них родилась девочка по имени Берта. Это имя мама никогда не любила. «Тлуста Берта» дразнили маму — так называлась немецкая пушка, из которой немцы во время Первой мировой войны обстреливали Париж. Мама рассказывает мечтательным, убаюкивающим голосом, периодически переходя на польский, чтобы действительность не мешала ей. Я слушаю, прижавшись к маме, польский меня не смущает, он почему-то такой же понятный и ясный, как русский. Ох, как там хорошо, как я хочу побегать с Монею по саду, у Мони золотые руки, он, наверное, не Сокольский — ведь они все такие неумехи. В семье считают, что его подменили в роддоме в Италии, где он родился. У Ефраима и его первой жены была там вилла, и дети все лето проводили на побережье Средиземного моря. У Берты есть своя комната, в ней живет она со своей куклой. Куклу Берточка очень любит, этой заветной кукле она поверяет все свои тайны.

У меня очень долго не было куклы. «У нас нет денег, чтобы купить куклу», — строго говорила мама. Но однажды кукла появилась. Я вошла на кухню — и на кухонном столе сидела кукла! Кукла моей мечты, с голубыми глазами, длинной косой, еще и говорящая! Куклу привезла мама знакомая из Москвы. В Москве жили несколько семей, приехавших в Россию из Белостока после 1939 года и не попавших в мясорубку Катастрофы. Мама знала их родственников, или родителей, или друзей, была свидетелем их гибели. Все эти люди очень жалели маму, иногда привозили нам подарки или деньги, но вытащить ее из нищеты и одиночества в Ялте, облегчить ей борьбу за существование или груз воспоминаний они не могли. Впоследствии мне что-то мешало в общении с ними, то ли их поль-

ский акцент, то ли какая-то странная мягкость в манере разговора и поведении. Все они жили с памятью об иной жизни. Ася Калецкая, нестигаемая коммунистка из Варшавы, отсидела за свои убеждения в польской тюрьме Картуз-Березе. Люся Вольф приехала в Москву вместе с родителями-инженерами (в 1940 году группа конструкторов из Белостока была приглашена на работу в конструкторское бюро автомобильного завода под руководством И. А. Лихачева), впоследствии ее родители были арестованы и умерли в лагере*. Луи и Ирэна Маркович. Луи вырос в семье эмигрантов, перебравшихся из Лодзи в Лейпциг. Луи получил музыкальное образование в Лондоне; уже в 1919 году, в пятнадцать лет, он одним из первых в Европе играл джаз на гитаре и банджо. С 1922 года в течение девяти лет он играл в джаз-оркестре Лейпцигского радио, потом — семь лет в известном «Роланд Дорсей-джазе» (Париж). А дальше его ждал путь, обычный для европейских эмигрантов польского происхождения в те годы: Варшава — Белосток — СССР. В Польше Луи стал работать в ансамбле Эди Рознера. В 1939 году, спасаясь от немцев, вместе с другими музыкантами он бежал из Варшавы в Белосток. В Белостоке Луи женился на маминой подруге Ирэне. Ансамбль Эди Рознера получил разрешение на гастроли по Советскому Союзу. В России Луи и Ирэна жили в заставленной вещами однокомнатной квартирке, где стены были увешаны фотографиями, а в углу стояли гитара и банджо. Я помню: мы сидим за накрытым к ужину столом в центре комнаты. Во главе стола Луи, ему уже около семидесяти лет, и мне

* Антисемитская компания 1948–1953 г. в Советском Союзе сопровождалась массовым увольнением евреев из промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, органов управления, вузов и университетов. Часть уволенных была арестована. Одним из крупнейших антиеврейских дел, сфабрикованных органами госбезопасности, было «дело ЗИСа» — Московского автомобильного завода им. Сталина. В феврале 1950 г. первый секретарь МК ВКП(б) Н. С. Хрущев во главе специальной комиссии стал осуществлять проверку деятельности ЗИСа. В результате проверки директор завода И. А. Лихачев был уволен с работы, а МГБ сфабриковало «дело о еврейской националистической группе на ЗИСе». По этому делу были арестованы 48 человек, 42 из них были евреи. Десяти арестованным евреям, в том числе заместителю директора завода А. Ф. Эйдинову, был вынесен смертный приговор, а остальные были приговорены к длительным срокам заключения.

кажется, что передо мной глубокий старец. Он небольшого роста и полностью седой. Ирэна хлопочет вокруг стола, она ровесница моей мамы и младше Луи на семнадцать лет. На обед каждый из нас получает тарелку с порцией курицы. Возникает пауза. Вдруг лицо Луи оживает, и он сразу молодеет. «Как-то мы были на приеме у английского принца... — начинает он один из своих бесчисленных рассказов. — На обед подали курицу, и поскольку никто из нас не знал, как ее есть, все сидели молча, боясь приступить к трапезе. Принц улыбнулся, обвел всех взглядом: «Курицу можно есть руками», — сказал он, обратившись к присутствующим. Ешьте курицу руками, не стесняйтесь», — со смехом добавляет Луи.

В России Луи боялся собственной тени. Когда я пыталась критиковать советскую власть, он говорил: «Молчи, здесь мне дали приют и позволили тихо дожить до старости, — ты не знаешь, что такое бегство от смерти». В России он тоже спасся от смерти, и тоже чудом. В «Советской культуре» была опубликована фотография с подписью: «Утесов, Райкин и Рознер подписывают заявление о том, что их коллективы идут в народное ополчение». Это было, в сущности, смертным приговором. От такой участи их уберегла чистая случайность: Марковича остановил на Красной площади милиционер. Время было такое, каждый прохожий казался подозрительным. А Луи был одет очень экстравагантно. Милиционер спросил, откуда он. «Из джаз-банда». «Какая банда?» — не понял милиционер и повел Марковича в отделение. Там тоже ничего не поняли и на всякий случай распорядились выслать всех из Москвы в 24 часа.

Но, пожалуй, самой близкой маминной белостокской подругой была Эстер Яковлевна Гольдберг, по мужу Гессен, Туся, как звала ее мама. Ее муж Борис Арнольдович Гессен был сыном пушкиниста А. И. Гессена. Переводчица с польского языка, она перевела «Библейские сказания» З. Косидовского. В 1940 году вместе с матерью Туся приехала из Белостока в Москву и поступила в Литературный институт. На одном из вступительных экзаменов, отвечая на вопрос экзаменатора, она забылась и стала говорить на иврите (в Белостоке Туся училась в престижной частной еврейской гимназии и ивритом владела блестяще). В какой-то момент она поняла, что говорит вовсе не на русском, и с ужасом посмотрела на старичка-экзаменатора. «Продолжайте, продолжайте, — сказал он, — я давно не получал такого удовольствия».

Тусин отец, Яков Гольдберг, был одним из руководителей юденрата* в гетто Белостока. Все жители гетто возмущались его разгульным поведением. Он разъезжал по гетто в роскошной бричке, запряженной парой лошадей, кутил, менял любовниц. «Это при живой-то жене!» — возмущались обитатели гетто. В 1943 году перед ликвидацией гетто — то есть незадолго до своей гибели — он позвал маму, которая работала в юденрате, и сказал: «Берточка, я знаю, что мы все погибнем, но мне кажется, что ты спасешься. Когда ты выйдешь из этого ада, поезжай в Москву, найди мою дочь Тусю и передай ей от меня привет».

И вот еще одна сцена, которая тяжелым грузом лежит у меня в памяти. Поздний вечер. Мы ложимся в постель, вдруг мама, услышав какой-то странный шум, набрасывает халат поверх ночной рубашки и выходит в коридор, через некоторое время раздается крик. Я, шестилетняя, в ночной рубашке выбегаю в коридор и вижу, как наша соседка-украинка с ножом в руке кружит вокруг моей мамы и шипит: «Я убью тебя, грязная жидовка». Я бросаюсь между мамой и соседкой — я не дам, я не допущу, чтобы убили мою маму! — и вижу занесенный уже надо мной нож. Так, в каком-то жутком, безмолвном танце, с нависшим над моей головой ножом, кружимся мы втроем

* Юденрат (нем. «еврейский совет») — орган, учрежденный в годы Второй Мировой войны немецкими оккупационными властями для управления еврейским населением отдельных городов. Состоял из назначенных властями евреев и нес ответственность за исполнение нацистских приказов. Юденраты создавались в большинстве оккупированных немцами населенных пунктах Восточной Европы. В еврейских общинах с населением более 10 тыс. человек юденрат состоял из двадцати четырех человек, в городах с меньшим числом евреев — из двенадцати человек. Руководители юденратов были ответственны за составление списков евреев для отправки в трудовые лагеря и лагеря смерти. Некоторые из них, видя, что они не могут помешать депортации евреев в лагеря смерти, кончали жизнь самоубийством (как глава Варшавского юденрата Адам Черняков 22 июля 1942 г.). Другие (например, Э. Бараш — председатель юденрата Белостокского гетто) считали, что если организовать работу предприятий по выпуску жизненно необходимой немцам продукции и отправлять в лагеря смерти больных и стариков, можно будет спасти жизнь большинству евреев. Но в конце концов как узники гетто, так и руководители юденратов, за редчайшим исключением, были депортированы в лагеря смерти.

по темному коридору. Мама нащупывает входную дверь, — и мы вихрем, со всех ног, в своих ночных рубашках вырываемся на улицу. Мы бежим по ночной длинной аллее. Черные силуэты тополей зубчатými башнями вонзаются в темное, звездное небо, — а мы, обезумевшие от страха и отчаяния, несемся к местному отделению милиции. Я не помню лица милиционера, который нас принял. Я помню только свой безумный страх, меня бьет дрожь, я с надеждой ловлю каждое его слово. Мама говорит, что мы боимся идти домой, нас грозятся убить. «Идите, — уговаривает он, — ничего не случится, потом приду и разберусь». Мы поплелись назад, опять в темноте, холоде, безлюдии и страхе. В коридоре уже никого не было и, тихонько юркнув в комнату, мы закрылись и легли спать.

Много лет спустя, в 1985 году, я оказалась в Хельсинки на десятилетнем юбилее подписания Хельсинских соглашений*. Я приехала туда из Израиля под видом израильского корреспондента в конце июля 1985 года, всего через три недели после нашего отъезда из Советского Союза. Я рассказывала о положении евреев, которым отказано в разрешении на выезд, об их арестах и преследованиях. В фойе конференц-зала я давала интервью для русской редакции радиостанции «Голос Америки», говорила о недавнем аресте нашего близкого друга Владимира Бродского**. Напротив меня расположилась груп-

* Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось в конце июля — начале августа 1975 г. в столице Финляндии — Хельсинки. В совещании принимали участие представители тридцати пяти европейских стран, а также США и Канады. Страны подписали заключительный акт, содержащий три основных раздела или «корзины». В 1-м разделе речь шла об обеспечении европейской безопасности. 2-й был посвящен экономическому, социальному и техническому сотрудничеству, а также сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В 3-м разделе говорилось о соблюдении основных прав человека и о свободе выезда. Западные страны настаивали на выполнении этого пункта Советским Союзом и странами социалистического блока и поддерживали деятельность диссидентских «хельсинских групп» в Восточной Европе, борющихся за выполнение принципов Конференции.

** Бродский Владимир Исаакович (р. 1944) — врач, активист еврейского движения в СССР, участник правозащитного движения. В 1968 г. окончил Московский электротехнический институт, а в 1974 — Московский медицинский институт. Работал врачом в московских больницах.

па из десяти-двенадцати мужчин в одинаковых черных костюмах с белыми рубашками. Услышав, о чем идет речь, они насторожились. Это были члены советской делегации; я не помню их лиц, но отчетливо вижу покрасневшие, пунцовые шеи над белыми воротничками. Вскочив, они сгрудились за спиной тех, кто брал у меня интервью. Я продолжала говорить, стараясь, чтобы голос не выдал моего напряжения и те, кто брал у меня интервью, ничего не заметили. Я закончила интервью и зашла в конференц-зал, советская делегация осталась в фойе. Мы были на нейтральной территории.

Профессор Мартин Гилберт*, английский историк, автор биографии Уинстона Черчилля, занимался в то время изучением борьбы советских евреев за право на выезд из Советского Союза в Израиль. Он написал также несколько книг по истории Холокоста, куда включил отрывки из маминых воспоминаний (правда, называя ее при этом не Сокольской, а Соколовской). На этой конференции Мартин познакомил меня с председателем комиссии ООН по правам человека. Это был высокий доброжелательный американец. Он с любопытством спросил меня: «Как ты можешь описать антисемитизм? Что это такое?» В этот момент я впервые за долгие годы мысленно вернулась в свое детство и увидела эту сцену. Я сказала ему: «Это когда над твоей мамой заносят нож со словами: «Грязная жидовка, я убью тебя»». Наверное, мой рассказ, моя попытка перенести его в этот темный и страшный коридор подействовали на него, потому что он вдруг побледнел и перестал выглядеть высокопоставленным чиновником. Мне же стало плохо, я почувствовала, что теряю сознание, и Мартин вывел меня на улицу.

В конце 1970-х годов подал просьбу о выезде в Израиль и получил отказ. Активно участвовал в движении советских евреев за выезд. Член диссидентской группы «Доверие». В июле 1985 г. арестован и по сфабрикованному обвинению в «хулиганстве» приговорен к трем годам лишения свободы. Был освобожден в сентябре 1986 и сразу же выехал в Израиль. Работает врачом-анестезиологом.

* Гилберт Мартин Джон (р. 1936) — английский историк. В 1960 г. получил вторую степень в Оксфордском университете. Автор многотомных биографий У. Черчилля, А. Идена, книг по истории Второй Мировой войны и Холокоста. За научные заслуги в 1995 г. возведен в рыцарское достоинство. Активно участвовал в борьбе за право советских евреев на выезд из СССР. Написал об этом книгу «Jews of Hope» («Евреи надежды», Нью-Йорк, 1985).

Каждый мамин выходной мы садились на катер и уезжали в один из пригородов Ялты. Изумительный Алушкинский дворец, Ливадия, Мисхор, Симеиз. Наслаждаясь красотой парка или дворца, мы выбирали уединенную скамейку и снова переносились в Белосток. Ох, эта зануда Мирьям! Она вечно жалуется, что у нее длинный нос, и просит его отрезать, все над ней смеются. Мама Гутта, тихая, маленькая и очень болезненная женщина, любит наблюдать, как Берта играет с братом Монеи. Моня так любит Берту. Учит ее кувыркаться, и еще всяким другим забавным трюкам, ведь он такой ловкий! Я так увлечена этими рассказами, что искренне сержусь, смеюсь и балуюсь вместе с ними. Мне совсем не мешает то, что в своих рассказах мама всегда добавляет, как они погибли. Моня учился до войны в Вильно, затем переехал в Минск. Там, видимо, он был уничтожен в Минском гетто, точно никто не знает. Мирьям, противную зануду Мирьям, которую потом выдали замуж за нелюбимого, но богатого врача, сожгли в лагере смерти Треблинка, как и Гутту, которую я так и не смогла представить себе своей бабушкой.

У меня была бабушка — няня, которую я называла бабушкой Марьей Трифоновной. Я ей до сих пор очень благодарна за теплоту, любовь и внимание, в которых я отчаянно нуждалась. Отец нашел ее в первый год моей жизни, пообещав, что она станет кастеляншей на его будущей писательской вилле. Вилла так и не появилась, кастеляншей Марья Трифоновна не стала, зато стала моей бабушкой. Мы очень привязались друг к другу. Бабушка рассказывала о своей одинокой жизни. Жаловалась на пасынка — она растила его с четырехлетнего возраста, а потом он уехал в Одессу и забыл ее. Я слушала внимательно — слушать я умела, — но не погружалась с головой в ее воспоминания. Все свободное время она проводила в церкви — соборе Александра Невского*. Бабушка ча-

* Собор Александра Невского — пятиглавый собор, возведенный в 1902 г. в неорусском стиле архитектором П. К. Тербневим. Храм построен в память императора Александра II. В 1938 г. церковь была закрыта, а в здании был устроен клуб. Службы в храме вновь возобновились в 1942 г. по постановлению германской оккупационной власти. После освобождения Крыма весной 1944 г. было решено не закрывать храм во второй раз. Собор Александра Невского остается центральным православным собором Ялты.

сто брала меня с собой. Собор был белым и воздушным, похожим на сказочный дворец. Мы входили в огромную залу с покрытыми золотом иконами, меня вместе с другими детьми сажали на полу перед иконостасом. Когда хор громко запевал «Аллилуя», я очень пугалась. Любила я наши путешествия по ялтинским горам, где бабушка показывала мне разные деревья и крымские цветы, где мы собирали маслины, дикую сливу и кизил. Она родилась и прожила всю жизнь в Ялте, хорошо знала ее природу и научила меня видеть ее и любить. Пенсию она получала мизерную даже по советским понятиям. Питалась в основном тем, что собирала в лесу. Подрабатывала она подклеиванием старых, рассыпающихся молитвенников. Мы сидели в ее крошечной каморке, и я помогала ей собирать и раскладывать выпавшие листы с картинками жития святых. В углу висели иконы, и она часто становилась на колени перед иконой Божьей Матери и молилась, громко жалуясь на свою такую одинокую и больную жизнь. Однажды она встретила меня радостная, сияющая, обняла и стала целовать: «Аллочка, Папа Римский евреев простил!»* Мне было в то время семь лет, за что надо было прощать евреев, я не знала, но радовалась вместе с ней.

Мамины рассказы не ограничивались только детством, в них вплетались и истории из школьных лет, и сцены в гетто и концлагерях. Мама ставила передо мной одно-единственное условие — чтобы я никогда, никому, ни при каких обстоятельствах ничего не рассказывала о ее жизни. Попав в Россию в сталинские времена, чудом избежав советских лагерей, она панически боялась, что о ее прошлом кто-то узнает. Только один раз я нарушила этот запрет. Я была в детском саду, мне было уже пять или шесть лет. Мы с подружками решили рассказать друг другу о каком-нибудь интересном

* Второй Ватиканский собор (1962–1965), созданный по инициативе папы Иона XXIII, рассмотрел отношение католической церкви к евреям. В решениях собора говорилось о духовной связи между «народом Нового Завета и семенем Авраама» и приводились слова апостола Павла, в котором он прославлял свой родной еврейский народ. Собор решительно отверг главное обвинение, выдвигавшееся против евреев католической церковью, — обвинение в коллективной ответственности за смерть Иисуса. Впервые в истории в документе церковного собора содержится ясное и недвусмысленное осуждение антисемитизма.

случае из жизни своих родителей. Я рассказала о том, что когда мама была в концлагере Берген-Бельзен, англичане стали сбрасывать с самолетов масло, чтобы как-то подкормить умирающих узников. «Те, кто мог двигаться, добирались до масла и, съев его, умирали в страшных мучениях. Моя мама двигаться уже не могла и поэтому не умерла», — торжественно закончила я. Потом, испугавшись, что нарушила клятву, я стала умолять своих подружек не говорить об этом моей маме. Но мы тут же повздорили, и одна из девочек, увидев мою маму, которая пришла забирать меня из детского сада, передала ей мой рассказ. Мамино лицо почернело. Она дернула меня за руку и потащила за собой. Дорога пролегла вдоль моря. Обезумев от страха, на глазах у прохожих она била меня и кричала: «Ты осталась без отца, теперь ты лишишься и матери. Меня увезут в сибирские концлагеря, а тебя отправят в детский дом». Мне было больно, стыдно, но больше всего страшно — страшно потерять маму, да еще из-за собственной болтливости. Шел 1963 год, за пребывание в нацистских лагерях смерти уже никого не сажали, но страх у нее остался. С тех пор я никогда никому ничего не рассказывала.

Став старше, я особенно внимательно вслушивалась в ее рассказы о школе. Мама училась в частной гимназии Зелигмана* — одной из самых известных и либеральных гимназий Белостока. Там среди других предметов изучали французский, немецкий, латынь и древнегреческий языки. В школе учились дети разных вероисповеданий. На уроки Закона Божьего католики шли к ксендзу, православные к священнику, евреи — к раввину.

«О судьбе доктора Зелигмана, — рассказывала мама, — я узнала впоследствии от своей подруги Нины Зелигман, его дочери, с которой я встретила на вокзале города Люблина по дороге в концлагерь

* Гимназия Зелигмана была основана в 1922 г. И. Зелигманом и в скором времени стала лучшей частной гимназией в городе. Зелигман был директором гимназии и преподавал в ней историю, латынь и математику. Через несколько лет после открытия гимназия стала государственной школой. В ней учились ученики различных конфессий: иудеи, католики, православные, лютеране. Осенью 1939 г. гимназия стала советской школой, а Зелигман был арестован органами госбезопасности, но вскоре освобожден. После оккупации Белостока немцами 26 июня 1941 г. гимназию закрыли. И. Зелигман погиб в августе 1943 г. по дороге в Майданек.

Майданек. У нее был цианистый калий, и она, чтобы избавить отца от мучений и издевательств, дала ему яд в вагоне. Он умер мгновенно.

После школы мы часто собирались в кафе на так называемые файв-оклоки (five-o'clock) — за чашкой кофе в этих кофейнях проходили наши бурные дебаты обо всем на свете: о партиях, о национальном вопросе, о будущем Польши. Юзефа Пилсудского*, тогдашнего главу Польши, мы все обожали. Помню, как он приезжал в Белосток, мы встречали его цветами, приветствиями, я пробиралась сквозь толпу, чтобы увидеть легендарного Пилсудского. Мы носили значки с его изображением. Еще я посещала кружки эсперанто, тогда многие увлекались этим искусственно созданным языком, на котором можно было бы общаться с населением всего мира**.

* Пилсудский Юзеф Клеменс (1876–1935) — польский государственный политический и военный деятель. Родился в знатной шляхетской семье. В 1887 г. за участие в деятельности террористической фракции партии «Народная воля» был приговорен к пятилетней ссылке в Сибирь. В 1892 г. по возвращении из Сибири вступил в Польскую социалистическую партию (ППС). В 1904 г. начал создавать партийные боевые группы, занимавшиеся террористическими актами против представителей российских властей и экспроприациями банков и почтовых поездов. В 1908 г. во Львове он организовывал военные группы Союза стрелцов, а после начала Первой мировой войны организовал Польские легионы, сражавшиеся на стороне Германии и Австро-Венгрии. После поражения Германии и ее союзников был «временным начальником Государства». Сыграл выдающуюся роль в разгроме Красной армии под Варшавой 13–25 августа 1920 г., лично командуя польскими войсками. В 1922 г. передал власть первому избранному президенту Польши Г. Нарutowичу. В мае 1926 г. в результате военного переворота, возглавив Польшу, стал военным министром и в 1926–28 гг. и 1930 г. — премьер-министром. Фактический диктатор Польши. Установил режим санации (оздоровления), подразумевающий огромную власть главы государства, аресты и изгнание политических противников. При Пилсудском были отменены некоторые дискриминирующие евреев законы, принятые еще в Российской империи.

** Эсперанто — искусственный язык, созданный родившимся в Белостоке Л. Заменгофом. Над проектом языка Заменгоф работал больше десяти лет. В 1887 г. он опубликовал на русском языке брошюру «Международный язык. Предисловие и полный учебник». Заменгоф хотел создать универсальный международный язык, который стал бы вторым языком для каждого образованного человека. На сегодняшний день в мире насчитывается несколько сот тысяч человек, говорящих на эсперанто.

Нередко речь мама вставляла в свой рассказ слова или фразы на эсперанто, например, «экс нострес» — «из наших». Я была уверена, что это идиш, и удивлялась, когда люди, знающие его, меня не понимали. В ее рассказах я не ощущала того, что сама испытывала в Ялте, — страха и стыда за свое происхождение, одиночества в окружающем, враждебном мне мире. Все поражало меня: и культура кафе, и легкость общения, и отсутствие запретных тем. Незнакомое мне чувство свободы окружало мою маму в юности.

Мама все время возвращалась к жизни в довоенной Польше. «В польское время, — рассказывала она, — был страшный антисемитизм, особенно в последние перед войной годы, он чувствовался везде. Громили еврейские магазины, нас травили на улицах. Мы просто не могли спокойно выйти на улицу. Тогда свирепствовали эндеки — польские фашисты. Когда наши ребята выходили на улицу, они имели при себе ножи для самообороны. Девочкам было проще, часто польские парни кричали: «Пресчь жидами — жидувки с нами» (Долой евреев, еврейки с нами). Я чувствовала этот антисемитизм и в лицее, так как директор лицея был одним из главных эндеков. Нас в классе было только четыре девушки-еврейки, а в младшем классе был один мальчик-еврей, они его так били!»*

* В созданном в ноябре 1918 г. независимом польском государстве господствовали антисемитские настроения. Высшие судебные власти страны решили сохранить многие законы, принятые до провозглашения независимости Польши, если они не были аннулированы специальными актами польского парламента. В результате местные власти часто использовали против евреев дискриминационные законы, существовавшие в Царстве Польском. Начиная с 1923 г. негласно действовала процентная норма в средних и высших учебных заведениях. Число еврейских студентов и школьников старших классов все время уменьшалось и в конце 30-х годов составляло 12%. Дискриминация часто принимала издевательские формы — например, в последних рядах университетских аудиторий устанавливались так называемые еврейские скамьи. В середине 30-х годов антисемитские настроения в Польше усилились. В апреле 1934 г. был создан Национально-радикальный лагерь — антисемитская организация, куда вошли многие антисемиты, покинувшие Национально-демократическую партию (эндеки). Организация требовала изгнания евреев из страны. Ее члены избивали еврейских студентов, осуществляли террористические акты против евреев

За Коммерческий лицей платить было дешевле — он был государственный, частные лицеи стоили значительно дороже. Поступить в него было очень тяжело, конкурс был огромный, а для евреев еще дополнительно существовала десятипроцентная норма. Когда я и еще три еврейские девушки поступили в лицей, о нас писали все еврейские газеты Белостока. После лицея мне сразу поступили заказы вести бухгалтерию нескольких магазинов, маленькой фабрики — у меня же были официальные документы. Так что я начала жить. А еще у меня появился мой друг Аркаша».

«Мой друг Аркаша». Как часто она вспоминала его. Мама всегда в своих рассказах называла Аркашу мужем, видимо в воспитательных целях. Мне страшно хотелось узнать, какая у них была свадьба, но мама избегала этой темы, а я не спрашивала, должно быть, чуть подсказывало мне, что этот вопрос задавать не стоит. Красивый, высокий, с черной шевелюрой. Я мысленно вижу их в самый счастливый вечер — в ресторане, на встрече Нового 1941 года. Я сама оказываюсь там — маленькая девочка, притаившаяся внутри роскошного ресторана. Меня никто не видит, а я не свожу глаз со своей мамы. Ей только что исполнилось девятнадцать лет. Она в бархатном темно-синем платье, у нее огромные серые глаза, черные волосы и ослепительно белая кожа. Она самая красивая в зале. Стены зала зеркальные. Она кружится в вальсе с Аркашей и все время смотрит на свое отражение. Ах, какая она красивая, молодая и счастливая! Я в глубине души завидую ей. У меня нет огромных серых глаз и волосы обычные, темно-коричневые. «Как жаль, что ты не похожа на меня, — часто говорила мама, — ты, к сожалению, похожа на своего отца. У меня всегда было такое красивое лицо, что даже надсмотрщики в Освенциме, которые избивали нас плетками, когда мы таскали камни, не били меня по лицу».

и еврейских учреждений. В июне 1934 г. организация была запрещена, однако многие ее члены продолжали действовать подпольно. Налоговая политика польского правительства была направлена на активную поддержку польских кооперативов и коммерсантов и разорение еврейских торговцев и ремесленников. Евреев не брали на работу в государственные учреждения, и даже еврейские рабочие подвергались экономическому бойкоту со стороны государства и большинства частных предпринимателей.

Летом 1939 года Аркаша поступил в Сорбонну. Осенью они с мамой собирались уехать в Париж, поэтому перед отъездом дома говорили друг с другом по-французски. 1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Немцы вошли в Белосток, а 23 сентября 1939 года город заняла Красная армия. Белосток стал советским городом. Париж так и остался мечтой.

Эту мечту — увидеть Париж — Берта пронесла через всю свою жизнь. И после нашего отъезда из России, как только у меня появилась возможность, я поехала с ней в Париж. Ей было уже семьдесят пять лет, она ходила с палкой и быстро уставала. «Алка, мы в Париже!» — повторяла она, задыхаясь от восторга и усталости. Я смотрела на ее помолодевшее лицо и часто, по какой-то ее отрешенности, по веселому, но устремленному вглубь себя взгляду понимала, что она не со мной, что рядом с ней идет сейчас единственный человек, которого она любила и с которым была счастлива, — Аркаша. Вот так втроем — мама, я и Аркаша — бродили мы по бульварам Парижа.

Мамина общительность в Париже нередко приводила к недоразумениям. Зная несколько языков — польский, французский, русский и немецкий, — она всюду находила собеседников. Как-то в буфете Лувра я оставила ее за столиком и встала в очередь. Когда я вернулась к столику, мамы там не оказалось. С подносом в руках я заметалась по наполненному людьми буфету, пытаюсь отыскать маму. «Не видели ли вы пожилую женщину в черной куртке?» — обратилась я к сотруднику музея, мы бросились искать ее вместе. Вдруг я увидела оживленную группу женщин, в центре которой жестикулировала мама, куртка лежала рядом. «Вот моя дочь, о которой я вам только что рассказывала», — торжественно сказала она, указывая на меня. Все повернулись и стали глазеть в мою сторону. «Что ты им про меня рассказала?» — прошипела я. «Все», — ответила Берта.

В электричке по дороге в Версаль Берта услышала польскую речь — и встрепенулась. Она тут же стала пробираться к группе молодых поляков, и остановить ее было невозможно. Она обратилась к рыжему конопатому парню, я же сделала вид, что не имею к происходящему никакого отношения. Когда мы подъехали к Версалью, я подошла к ним. Лицо рыжего парня было пунцовым. Берта ни о чем не спрашивала его, она обвиняла в его лице всех поляков — пособников фашистских убийц. Поезд остановился и взмок-

ший поляк, которому так и не удалось оправдать перед Бертой весь польский народ, пулей вылетел из вагона. Берта, вся взъерошенная, торжествовала победу. В другой раз досталось немецкой пожилой паре. Они доброжелательно приветствовали приближающуюся к ним на улице старушку, и тут Берта протянула руку и показала вытатуированный на руке номер узника Освенцима — вот что вы сделали со мной. Те в ужасе отшатнулись. Я была спокойна, только оставляя маму на скамейке с японскими туристами (мне все время приходилось выяснять, как добраться в то или иное место). Возвращаясь, я видела, как Берта, нахохлившись, обиженно смотрела на своих соседей: японского и английского она не знала.

Панически Берта боялась только арабов. Еще в Белостоке она слышала страшные рассказы о чудовищных расправах арабского населения Палестины с приехавшими туда евреями. Как-то, посадив ее за столик в кафе на Монпарнасе, я подошла к стойке. Когда я вернулась, испуганная Берта подавала мне знаки:

— Мувим тылько по-польску (Говорим только по-польски), — сказала она. По-польски я не говорила, но понимала, так что она разразилась длинным монологом на польском языке. Я слушала ее молча, пытаюсь сообразить, что происходит. Вдруг из-за соседнего столика встали двое мужчин восточной внешности. Когда они вышли из кафе, Берта облегченно вздохнула: «Все, переходим на русский». «Объясни, что происходит», — потребовала я. «Это были арабы, и если бы мы стали говорить по-русски, они бы поняли, что мы евреи, которые эмигрировали из России в Израиль, а теперь приехали посмотреть Париж».

Октябрь 1939 года. «Когда вошли русские, — рассказывала мама, — евреи очень обрадовались. Мы страшно боялись немцев, мы знали, что происходит в районах, оккупированных немцами, в Варшаве. Мы сначала не понимали, что такое Советский Союз, потом мы это поняли. Когда пришли Советы, мы не подвергались особым преследованиям: арестовывали раввинов, бундовцев, высылали в Сибирь богатых людей, таким образом, русская власть спасла их от немцев*».

* На присоединенных в 1939–40 гг. к Советскому Союзу территориях Польши, Западной Украины и Западной Белоруссии, Литвы, Латвии,

Мы много времени проводили в кафе, разговаривали, потом стали замечать, что люди пропадают. Например, мой брат Евсей говорил: «Берта, люди исчезают, за что?» Мы не понимали этого. Мой друг Аркаша, который всегда сочувствовал коммунистам, говорил: «Берточка, разве об этом мы мечтали?» Я работала в территориальном управлении главлесохраны старшим бухгалтером. К нам прибывало много беженцев из оккупированных немцами территорий Польши. Когда они пытались вернуться назад, их не пускали, хватали, даже без вещей сажали в вагоны и отправляли в Сибирь; так их спасли. Я пыталась поехать в Москву к своей тете. Это было очень сложно, нужно было оформить множество документов. Наши районы считались советской территорией, но очень отличной, отделенной от Советского Союза зоной. Белосток был вообще перевалочной базой. Дружба Сталина с Гитлером была невероятная. Мы удивлялись, как Советский Союз снабжает германскую армию — через Белосток шли лес, металлы, это был большой железнодорожный узел между Востоком и Германией».

Ялта, 60-е годы. Свообразной отдушиной для нас с мамой были наши визиты в Москву — раз в год мы приезжали к тете Гале, маминой двоюродной сестре. Галя родилась в Москве. Она была дочерью польской коммунистки, родной тети моей мамы —

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины новая власть стремилась создать общественно-политические условия, аналогичные основной территории Советского Союза. Это подразумевало массовую национализацию всей буржуазной собственности, запрет всех политических партий, кроме коммунистической, и т. д. В Белостоке была упразднена еврейская община, были распущены все еврейские общественные организации, кооперативные предприятия, молодежные, спортивные и культурные общества. Арестовывались представители интеллигенции, активисты политических партий. В еврейской среде первыми жертвами стали деятели Бунда, затем активисты различных сионистских партий. Весной 1941 г. были осуществлены массовые аресты евреев и неевреев, которые были депортированы в отдаленные районы страны. Депортации подвергались также беженцы из оккупированной немцами части Польши, отказавшиеся принять советское гражданство. Многие из высланных попали в тюрьмы и лагеря, другие — в отдаленные районы Советского Союза, но все же процент выживших среди них был значительно выше, чем среди евреев на территориях, оккупированных немцами.

Сони. В молодости Соня вступила в Польскую коммунистическую партию, а когда летом 1920 года в Белосток пришла Красная армия, года стала работать во Временном революционном комитете Польши (Польревкоме). В конце 1920 года весь состав Польревкома ушел вместе с отступающей Красной армией в Россию.

Это была благополучная советская семья: тетя Галя — врач, ее муж Миша — физик-атомщик, веселый, беспечный сын Саша. Они выгодно отличались от маминых друзей из Польши — они не жили воспоминаниями из другой жизни. Их жизнь не делилась на «до» и «после». Именно так я ребенком воспринимала эмигрантов, не зная этого умного слова. После месяца беззаботной жизни в Москве мы садились в поезд, поезд трогался, мы обнимались и навзрыд плакали, так не хотелось нам возвращаться в нашу одинокую и тревожную жизнь в Ялте. В один из приездов в Москву — мне было тогда семь лет, — меня положили в больницу, чтобы удалить гланды, так как болела я ангиной непрерывно. Больница была для взрослых, в палате лежали шесть женщин, и одна из них стала рассказывать анекдот про евреев. Все засмеялись. Я замерла от ужаса. Сейчас они узнают, что я еврейка, будут издеваться или бить! Мозг мой работал лихорадочно: одежды нет, только больничная пижама, денег нет, входная дверь закрыта, как добраться до дома тети Гали, не знаю. Но время терять нельзя. Я выскочила из палаты и заметалась по больнице в поисках укрытия. На первом этаже я забилась под лестничную клетку и решила дожидаться ночи, а дальше бежать, в палату возвращаться было нельзя. Меня нашли через пару часов. Я так глубоко залезла под лестницу, что взрослый человек забраться туда не мог. Да и я сидела на корточках, со страхом наблюдая за своими преследователями. Меня долго уговаривали вылезти, клятвенно обещали, что никто меня не тронет. Потом под конвоем двух медсестер меня отвели в палату. Ноги у меня подгибались, я шла как на казнь. К моему удивлению, соседки по палате встретили меня очень ласково, заверили, что никто обижать меня не собирался и что к евреям они относятся вполне нормально.

Глава II. Воспоминания Берты Сокольской

Война

Уже в 1941 году ощущалась тревога. Английское радио предупреждало нас, что у границ стоят немецкие войска. Мы чувствовали себя в западне, бежать было некуда и говорить вслух об этом мы не могли, пока Молотов 22 июня 1941 года в 12 часов дня не сообщил о начале войны. Война началась в 4 часа утра, а в Белостоке уже были жертвы. Защищали нас солдаты, которые были на службе первый год, они еще не умели воевать. Совершенно оголена была граница. Когда немцы напали на Россию, вся Белостокская область была окружена. Мы уже оказались под немцами; мы не знали об этом, когда бежали. Брат достал машину. Дорога была очень тяжелая. Над нами беспрерывно летали самолеты, бомбили поезда и дороги. Может быть, некоторые поезда и прошли, но в основном бомбы сжигали вагоны вместе с людьми. Белостокская, Брестская области — это были страшные территории, удрать от немцев было невозможно. Мой друг Аркаша и брат Евсей погибли при бомбежке, мы с женой и дочерью Евсея дошли до Слонима и вернулись. Город был окружен. Возвращались мы пешком, подобрала нас немецкая машина. Они сказали — мы армия, не гестапо, но в Белостоке уже орудует гестапо, они довели нас за пять километров до города и выпустили. Поляки к нам очень плохо относились, отказывались в чем-либо помочь, ведь немцы шли под лозунгами, направленными против евреев и коммунистов.

Гетто

Гетто размещалось между улицами Сенкевича, Липовой, Артиллерийской, Полесской и Костюшкинским рынком. В 1941 году там было где-то 70–80 тысяч евреев. Гетто вокруг Белостока, такие как Тжодно, были уничтожены, а те евреи, которые остались в живых, были свезены в Белостокское гетто.

Маме не пришлось пережить ужас переселения в гетто. Дом, в котором она жила на улице Сенкевича, оказался в границах отведенной под гетто территории. К ним подселили несколько еврейских семей из других районов города, изгнанных из своих домов. Мама снова и снова возвращалась к рассказу о том, почему она не ушла из гетто, хотя имела такую возможность.

Один поляк, пан Шиманский, хотел меня спасти — спрятать в лесничестве, сделать польские документы. Но я отказалась, мысль о том, что я буду прятаться, играть роль польки, была для меня невыносима.

Берта по-разному объясняла, почему отказалась от попытки спастись. Иногда она говорила, что должна была разделить судьбу своих родных, своих друзей, своего народа: «Трагедия гетто, трагедия ликвидации моего народа была слишком страшна, а я была частью этого народа». Однако наедине она часто говорила мне: «Помни, Алка, я могла спастись и жить в лесу с польскими документами, но я не могла оставить свою маму. Мама была беспомощной и больной, и я не могла ее бросить. Обещай мне, что ты никогда не оставишь меня». Говорила она об этом очень часто, с тревогой в голосе, даже со страхом. «Я никогда не брошу тебя, мама», — уверяла я ее. И еще мысленно повторяла: никогда, ни в беде, ни в горе, ни в радости, — никогда, слышишь мама, никогда я не оставлю тебя!

Белосток был большим индустриальным гетто, где находились несколько фабрик и так называемые «нужные евреи». В гетто были юденрат и собственная еврейская полиция, которую возглавлял один из членов юденрата Маркус. К юденрату относились в гетто по-разному, но все понимали, что какое-то промежуточное звено между немцами и гетто необходимо. Главой гетто был инженер Бараш*, человек очень интересный, нестарый. Он постоянно ста-

* Бараш Эфраим (1892/93–1943) — инженер, председатель юденрата Белостокского гетто. Организовывал различные производства, таким образом доказывая немцам важность существования гетто. В октябре 1941 г. сумел предотвратить уничтожение части узников, договорившись о переселении пяти тысяч евреев в гетто Пружан. За это он публично просил прощения у узников гетто. Используя свои связи с немцами, он предот-

рался установить хорошие отношения с немцами. Ему это удалось, частично благодаря его внешности и уму. Он был очень обаятельный человек, я не очень хорошо его знала, но иногда встречала, когда работала в Arbeitalf (Бюро по трудоустройству). Я составляла списки людей по специальностям, по этим спискам их выпускали из гетто на работу, потом вечером они возвращались. Бараш мечтал сохранить гетто и евреев, и ему казалось, что он делает для этого все необходимое. Администрация гетто составляла двенадцать человек; кто занимался продуктами, кто фабриками. В Белостоке было очень много немецких предпринимателей, среди них те, кто был против Гитлера, — немецкие диссиденты, они помогали доставать оружие, но я во всем этом не участвовала.

Работа в юденрате давала мне возможность выживать, я получала там паек. С питанием было очень тяжело. Давали нам отбросы мяса, хлеба было мало. Мы жили за счет смелых парней. Эти парни договаривались с немцами, покупали и приносили нам продукты. Они старались, чтобы гетто выживало. Многие из них погибали. Вообще положение Белостокского гетто было лучше, чем Варшавского, где люди умирали на улицах от голода. Белосток выживал.

Мы уже знали, что происходит: знали о лагерях смерти, о Трешлинке*, Майданеке, Освенциме. Передавались записки оттуда,

вратил голод в гетто. Бараш создал хорошо функционирующую систему медицинской помощи, наладив поставку лекарств из Германии. Когда немцы 1 февраля 1943 г. потребовали от Бараша предоставить список из 17 600 евреев для депортации, он отказался это сделать. Он настоял перед немцами на том, чтобы в число депортируемых не попали работающие на фабриках. О предстоящей акции он сообщил руководителю подполья М. Тененбауму. В августе 1943 г. Бараш был депортирован из Белостока и вместе с 15 тыс. белостокских евреев погиб в Майданеке.

* Трешлинка — нацистский лагерь смерти, созданный к северо-востоку от Варшавы весной 1941 г. Первоначально был концлагерем, где отбывали наказания главным образом поляки — за незначительные нарушения оккупационного режима. Впоследствии в лагерь стали поступать евреи, которые содержались в несравненно худших условиях и освобождению из лагеря не подлежали. 90% погибших в Трешлинке I составляли евреи, и погибали они в основном от голода, жестоких издевательств и систематических убийств. С конца мая 1942 г. нацисты начали строи-

единицам удавалось бежать; мы знали обо всех ужасах, которые творились вокруг, мы знали, что мы погибнем. В лесах действовали партизаны, но туда было очень трудно попасть, да и требовалась большая храбрость, так как положение их было тяжелым. Им приходилось прятаться не только от немцев, но и от польских партизан. Следовало быть очень осторожными и с польским населением, которое выдавало евреев немцам. Мы знали, что после сожжения нескольких тысяч белостокских евреев в центральной синагоге около тысячи было собрано под предлогом вывоза на работу, а на самом деле их вывезли в лес под Белостоком и расстреляли. И все-таки мы надеялись на чудо. О Сталинградской победе мы знали, у нас были подпольные радиоприемники, в гетто действовало подполье, и мы знали обо всем, знали, что в отместку за Сталинград немцы усилят зверства. После победы советских войск под Сталинградом немцы страшно ожесточились, хотя и до этого они устраивали обстрел гетто, выстраивали в шеренги и стреляли в каждого десятого.

К 1943 году, когда немцы назначили свою первую акцию по уничтожению, был построен подземный Белосток — это был целый город с квартирами, в котором были даже вода и отопление. Эти квартиры назывались «схроны». Там мы надеялись спрятаться во время акций. Выдавали, конечно, иногда свои, иногда немцы с со-

тельство Трешлинки II — лагеря смерти. Были сооружены десять больших газовых камер и три сравнительно небольших. С 23 июня 1942 г. в Трешлинку начали поступать эшелоны с евреями со всей Европы. Обстановка секретности строго соблюдалась, и евреи часто не знали, что их ждет. С 23 июля по 21 сентября 1942 г. в Трешлинке погибли 254 тыс. евреев из Варшавы и 484 тыс. из других частей генерал-губернаторства. С сентября 1942 г. по январь 1943 г. были уничтожены 107 тыс. евреев из окрестностей Белостока. За исключением незначительного числа квалифицированных ремесленников и врачей, все евреи, депортированные в лагерь, немедленно уничтожались. В Трешлинке существовала еврейская подпольная организация, члены которой смогли достать оружие и 2 августа 1943 г. подняли восстание. Убив несколько эсэсовцев и украинских полицейских, восставшие бежали в леса. Большинство участников восстания были убиты, только семидесяти из них удалось спастись. Восстание ускорило ликвидацию лагеря в октябре 1943 г. Всего в Трешлинке были уничтожены 870 тыс. человек.

баками находили. А был такой случай. Одна пара с маленькой девочкой спряталась в схроне. Они слышали, что немцы подходят, а тут их девочка расплакалась, они сначала просто рот ей закрывали, а потом задушили. Задушили собственного ребенка! Ее плач мог погубить множество жизней. Я помню эту девочку, ее звали Номи.

Мама часто рассказывала об этом случае. Будучи еще ребенком, я часто представляла себе женщину с маленькой девочкой на руках, завернутой в легкое одеяло, которую потом задушила ее мама. Девочку мне было жалко. Но я понимала, что сделала ее мама. Ведь могло погибнуть много людей! Видимо, для меня это был акт героизма.

Первая акция была проведена в феврале 1943 года. Немцы стали вывозить людей. После того как на них стали нападать по вечерам, они заходили только днем, говорили, что хотят вывезти стариков, детей и больных, а все трудоспособное население оставить, поэтому я решила пристроить маму на завод. Бараш пошел даже на то, что подготовил списки из нескольких тысяч евреев, преимущественно пожилых людей. Первый раз немцы вошли в темноте. В них стали бросать бутылки с зажигательной смесью. В отместку немцы стали расстреливать каждого десятого человека. Этот кошмар продолжался десять дней. Пули свистели по всем улицам. Я спала на железной кровати. Пуля влетела в окно, ударила о спинку кровати, — и я осталась жива. В первую акцию юденрат не тронули, я там работала, а маму пристроила в схроне, и мы выжили. Тысячи погибли, их гнали из гетто, они шли с поднятыми руками и кричали «Шма Исраэль». Но Он им не помог... Наутро после акции я забрала маму из схрона, чтобы отвести ее к нашему родственнику, моему дяде. Он тоже потом погиб, по улицам гетто было невозможно идти — кровь текла ручьями, я закрывала маме глаза — не смотри, мама, не смотри!

Мама так часто возвращалась к этой сцене, что я чувствовала, будто тоже иду с ними: я маленькая, прячусь за маму, которая ведет сторбленную испуганную старушку — не мою бабушку, а мамину маму. Всюду кровь, она течет по асфальту и мои ноги то и дело скользят по лужам, и еще везде трупы, и голос моей мамы:

«Не смотри», — и старушка послушно закрывает глаза, но на меня никто не обращает внимания, и я смотрю, и я все вижу.

После акции мы вернулись в страшную жизнь гетто. Мы в юденрате толком уже не работали, выживали. Немцы очень многих убивали, забирали у нас буквально все, что было. Говорить о гетто страшно — это страх, это ужас, который трудно себе представить. Моя подруга Ева Крацовская говорила, что все будут ликвидированы и что она хочет уйти в партизаны. Она была смелая. Я не была смелой, я страшно всего боялась*.

Ева нашла способ уйти в партизаны. Им приходилось прятаться не только от немцев, но и от польского населения, которое в большинстве случаев стремилось выдать эти отряды немцам. Как-то Ева шла по направлению к лесу, возвращаясь в отряд после выполнения задания. Вдруг на окраинной улице Белостока она встретила свою няню. Ева бросилась к ней, няню она любила. И вдруг няня закричала истошным голосом: «Еврейка, еврейка! Ловите еврейку». Ева бросилась бежать, через несколько минут она услышала лай собак и крики немцев. Прятаться было некуда, собаки ее настигали. Вдруг перед ней оказался старый покосившийся домишко с деревянным туалетом во дворе. Она влетела в туалет и нырнула в очко. Схватившись за балку, она погрузилась в зловонную жижу. Задыхаясь, она слышала лай собак, голоса немцев, собаки след потеряли.

Ева осталась жива; мама услышала от нее этот рассказ, когда они встретились на территории Советского Союза уже после войны.

* Еврейские партизанские отряды в Польше, Украине и Белоруссии действовали в особенно тяжелых условиях. Они не могли рассчитывать на поддержку местного населения, а в лесах, особенно в восточных районах Польши, партизаны из Армии Крайовой, основной организации польского сопротивления, убивали евреев. Антисемитские настроения в Армии Крайовой усилились в 1944 г. после присоединения к ней Национальных вооруженных сил. Несмотря на неблагоприятные условия, на территории Польши в 1942–44 гг. было создано двадцать семь еврейских партизанских отрядов, двенадцать из них сражались в Армии Людовой, созданной коммунистами и социалистами (в других партизанских отрядах Армии Людовой тоже было много еврейских солдат и командиров).

К тому времени действовала сильная подпольная группа, которая имела связи с Варшавой. Ее возглавлял Мордехай Тененбаум. Мы все знали, что происходило в Варшаве, у нас уже не было надежд на чудо. Мы все знали, что нас ждет смерть. Дочка моего брата Рахелька (ей было тогда десять лет) говорила: «Хорошо моему папе, он погиб от бомбы, а как умрем мы?»

Кошмар гетто был страшен, а то, что ждало нас дальше, было еще страшнее.

Ликвидация гетто началась 15 августа. Они пришли — якобы для того, чтобы ликвидировать партизанское гнездо. Было разрешено всем взять по пять килограммов личных вещей. Мама была больна, и я не смогла сказать ей правду. Я стала собирать вещи и даже попыталась починить дверцу шкафа. Мама сказала: «Иди в юденрат и попытайся все разузнать». Она, видимо, уже все понимала. «Береги себя, доченька, ты должна спастись», — сказала она мне на прощание. Я пошла в юденрат. Зондеркоманда уже действовала там повсюду. Гордый, элегантный Бараш уже прислуживал им, — своими глазами видела, как они пинали его. Я поняла — это конец. Когда я вошла в здание юденрата, все служащие пребывали в панике.

Приехала специальная ликвидационная команда. Я вышла из здания и присоединилась к группе молодежи, которая шла в бункер. Там был штаб восстания*. Я провела там целый день. Нам вы-

* В Белостокском гетто активно действовало еврейское подполье. В марте 1942 г. был создан Объединенный антифашистский блок, в который вошли коммунисты, левое крыло Бунда и молодежная социалистическая организация «Ха-Шомер ха-Цаир» («Молодой страж»). Объединенный антифашистский блок возглавил прибывший из Варшавы член Еврейской Боевой организации М. Тененбаум. В другую организацию входили члены правого крыла Бунда. После долгих переговоров в конце мая 1943 г. организации объединились под руководством М. Тененбаума. В 1942 г. еврейские подпольщики развернули активную деятельность, пытаясь раздобыть оружие, которое в основном похищалось с немецких складов. В гетто были созданы мастерские, изготавливавшие гранаты и бутылки с зажигательной смесью. В феврале-апреле 1943 г. еврейские подпольщики Белостока создали в лесах партизанский отряд «Форес» и две еврейские партизанские группы. Еврейское подполье 14 августа 1943 г. узнало о планах окончательной ликвидации Белостокского гетто. Членам организации были розданы ружья и пистолеты со складов

дали бутылки с зажигательной смесью. Но вскоре нас обнаружили немцы и вывели из бункера наружу, выстроили вдоль стены. Через гетто шел поток евреев, их всех направляли на восточный товарный вокзал. Вели нас через весь город. Шли рядами, немцы с собаками по бокам. Дорога была страшная. Лаяли собаки, немцы и украинские полицаи обрушивали на нас приклады, как они нас били! Особенно старались украинцы, чтобы выслужиться перед немцами.

Стоял теплый, солнечный воскресный день. Было много гуляющих, дети в выходных нарядах, они шли, смеялись, разговаривали, никто не обращал на нас внимания. У них было право на жизнь.

Это был долгий, долгий путь. Мы прибыли на платформу, от которой отходили товарные поезда. Я знала, что они шли по направлению Люблин/Майданек, так как Треблинка уже горела. Нас толкали, били палками, мы были как стадо скота. Я увидела, на платформе стоят мои тети и двоюродные братья и сестры. Они сказали, что маму уже увезли, она ушла с надеждой, что я где-то спряталась. Украинцы — здоровые парни в черной форме с шапочками гестапо — без конца издевались над нами, грабили и избивали. Мы легли на землю. Над нами было чистое августовское небо, усыпанное звездами. Периодически слышались плач и молитва «Шма Исраэль».

Утром началось разделение семей. Женщин отделяли от мужей — Сара, прощайся со своим Абрамом, ты больше никогда его

организации. 200 членов организации заняли позиции на укрепленных бункерах, в их распоряжении были 130 единиц оружия, а также топоры, косы, штыки, бутылки с зажигательной смесью. Немецкое командование тщательно подготовилось к ликвидации. Гетто было окружено тремя батальонами СС (два из них состояли из украинцев), частями жандармерии, вермахта с артиллерией, танками и самолетами. С 16 по 20 августа продолжалось героическое сопротивление. В ходе боев в гетто было уничтожено около сотни немецких и украинских карателей. 20 августа, после того как закончились патроны, руководители восстания, в том числе М. Тененбаум, совершили самоубийство. Отдельные группы повстанцев до октября 1943 г. скрывались в развалинах гетто, по ночам нападая на немецкие и украинские патрули.

не увидишь! У всех женщин отобрали детей. Это был настоящий ад! Трудно передать душераздирающие крики, которые неслись со всех сторон. Сердце превращалось в камень. Мы мечтали о близком конце. Стали отходить поезда. Точно я не знаю, существовала тогда Треблинка или нет, потому что белосточан отправляли в Майданек. Украинцы свирепствовали страшно, забирали часы, наши последние вещи, избивали.

Прибыл какой-то немец и просил отобрать на работу 150 девушек и 700 мужчин. Все молодые девчата начали рваться, я стояла сбоку. Вдруг какой-то украинец сказал: «Смотри, какая гарна девка», — и вытащил меня из толпы. Меня присоединили к этой группе и вывели с плаца. Нас загрузили по сорок человек в вагоны для перевозки скота. Через некоторое время мы услышали страшную стрельбу — это мой приятель Маковский, он был столляр, открыл вагон и несколько человек бежали; некоторых убили, некоторые добежали до леса и спаслись.

Спустя семьдесят лет после этих событий я приехала поездом из Варшавы в Белосток. Был солнечный летний день. Несколько человек с чемоданами ждали поезда. Надо мной было чистое голубое небо, а внизу переплетались и уходили в разные стороны рельсы. Что так тянуло меня в Белосток? Мне хотелось пройти по улочкам, заглянуть во двор маминого дома, посидеть за чашкой кофе в белостокской кофейне, подойти к дверям гимназии Зелигмана. Белосток так ясно существовал в моем сознании, что мне казалось — я протяну руку, и мы с мамой, взявшись за руки, прогуляемся по местам ее детства и юности. «Смотри, Алка», — будет говорить она, а я буду смотреть и узнавать. Только реальность будет другой: призрачной будет мама, а настоящим — Белосток.

Все названия улиц были знакомы — Сенкевича, Липовая, Варшавская. На месте маминого дома была огромная стройка. Я нашла место, где стояла Большая синагога: мама до последнего дня с содроганием рассказывала, как горели в ней заживо несколько тысяч белостокских евреев. Это был небольшой зеленый дворик, зажатый со всех сторон пятиэтажными жилыми домами, со скромным памятником в центре. В другом районе — памятник борцам гетто и остаток той стены, где мама вышла из схрона с поднятыми

руками. Только речка Белая с заросшими берегами и посапывавшими на них утками не изменилась. Город — мой и мамин — был призраком. На улице Сенкевича я зашла в кафе, окна его выходили на реку Белую и несуществующий мамин дом. Задумавшись, я вдруг посмотрела на часы и поняла, что поезд в Варшаву уходит через час, а я понятия не имею, как добраться до вокзала. Я бросилась искать такси — такси нигде не было, попутные машины не останавливались, на автобусной остановке никто не знал, какой автобус идет на вокзал, — а может, в панике я перестала понимать даже отдельные знакомые мне польские слова (английского никто не знал). «Этот город-призрак не отпустит меня», — вдруг пронеслось у меня в голове. Но тут появилось такси, я успела на варшавский поезд и навсегда оставила так и не найденный мною Белосток.

Концлагеря

Сейчас, когда я пишу эти строки и мысленно ухожу вслед за мамой в страшное путешествие по концлагерям, я испытываю непреодолимый ужас, зная наперед, какая дорога мне предстоит. Удивительно, что будучи маленькой девочкой, я никогда не испытывала страха, проходя вместе с мамой эту дорогу. Раз за разом возвращалась она к самым страшным и значимым событиям этого путешествия по смерти, раз за разом она вспоминала, рассказывала, проживала их заново — и я вместе с ней, переспрашивая, вникая, впитывая подробности, но без страха, без ужаса. Единственным моим чувством была холодная ненависть, холодная ненависть к тем, кто все это сделал. Я не спрашивала себя, за что, я просто знала, что они это сделали.

Первый пункт, куда нас привезли, была Треблинка. Мы увидели, что написано «Треблинка — Арберслагер». Наши вагоны остановились. В воздухе стоял запах паленого мяса. Паника была страшная, был август, была жара, мы были полумертвые в этих вагонах, воды не было, язык во рту был сухой, опухший, одеревеневший. За какие-то вещи (кольца, серьги) нам давали немного воды. В вагонах были маленькие узкие окошки, мы протягивали к ним сложенные ладони и в них вливали грязную воду, вода

расплескивалась, нас охватывало массовое безумие, мы кричали, протягивали руки к окнам, отталкивая друг друга. Одна девочка не выдержала, сошла с ума, выскочила через это маленькое окошко и ее увели.

Мама часто возвращалась к этим сценам в вагоне: «Алка, ты не можешь себе представить, как страшно задыхаться от жажды и жары, каким тяжелым, деревянным становится язык, как он распухает во рту». Я честно пыталась представить себе распухший, твердый язык, раздувала щеки, останавливала дыхание. Сидя на скамейке в парке, прижимаясь к маме, я старалась почувствовать то, что чувствовала тогда она, не понимая, что мама не ждала от меня сочувствия, сопереживания, а только искала внимательного, терпеливого слушателя.

Поезд тронулся, он шел медленно, останавливаясь на разных станциях. Среди нас была доктор Чарнолеская из Лодзи. «Девочки, — сказала она, — газ — это страшно мучительная смерть. У меня есть бритва, давайте перережем себе вены». Она встала в середине вагона и подняла бритву. Мы стали протягивать руки, и она резала вены. Паника была страшная. Все кричали: «Мне! Мне!» Я толкаться не умела, потом протиснулась и подала правую руку, она резанула по ней бритвой, кровь брызнула в разные стороны, на меня напирала сзади, я не успела протянуть левую и упала с недорезанной правой рукой. Когда кровь выходит из тела, то очень слабеешь, я лежала и думала, вот жизнь кончается. Стала вспоминать Сенкевича «Камо грядеши»: я чувствовала себя римским патрицием, который лежит в ванне с перерезанными венами и из него медленно выходит кровь.

Мама протягивает мне правую руку, на ее запястье синие прожилки вен перерезают два-три поперечных неровных шрама. Всякий раз, показывая мне это место на руке, она вновь и вновь возвращается туда, в тот вагон. Рассказ обрастает подробностями или, наоборот, становится сухим и коротким — констатацией факта. Я до мельчайшей точки на коже изучила ее руку. Она рассказывает, а я глажу ее запястье, пытаюсь успокоить, пытаюсь забрать немного ее боли. Я мысленно оказываюсь вместе с мамой

там, внутри вагона. Вот передо мной лицо доктора Чарнолеской. Что оно выражает? Сосредоточенность? Решимость? Потом лес рук тянется к ней, бритва, зажатая в ее руке, летает в воздухе, рассекая вены на протянутых руках. Лес рук. Девушки с безумными лицами, на лицах не страх — страстное желание не пропустить летающее лезвие, фонтанчики крови, как гейзеры, бьют в разные стороны. Я уже стою в луже крови. Сколько звуков — крики, стоны, стук вагонных колес. А вот и мама, она наконец пробивается к вожденной бритве. Бритва рассекает правую руку — нужно обязательно обе, но мама слабенькая, она падает и откатывается в угол. Я перевожу взгляд на белое, спокойное лицо мамы. И — тишина.

Наутро мы приехали в Люблин. Вагон открыли, из вагона хлынула кровь. В вагон вошла моя двоюродная сестра. Я открыла глаза: «Берточка, ты жива!» Она стала меня обмывать, было очень много крови. Потом стали выводить из вагона, там было еще несколько девушек, которые не дали резать себе вены. На платформе было много белосточан. Там же я встретила свою подругу Нину Зелигман, которая и рассказала, что у нее был цианистый калий. Мой дядя доктор Задворянский тоже принял цианистый калий. Если бы у меня был цианистый калий, я бы тоже приняла. Цианистый калий был на вес золота.

Потом нас всех собрали и отвели в какой-то лагерь около Майданека. Там работали люди. Через некоторое время нас всех погнали пешком в Майданек, за несколько километров. В Майданеке нас отправили в баню, мы стояли под душем и ждали, что пойдет оттуда — газ или вода. Пошла вода. Потом нас распределили по баракам. Капо* очень свирепствовали, били нас. Вечером после отбоя капо нашего барака сказала: «Девочки, утром я имела одно лицо, сейчас другое. Я вынуждена так себя вести, но я помогу вам всем, чем смогу». Над лагерем стояло зарево. «Вот это те, на которых пошел в душе вместо воды — газ, они уже горят в печах, там

* Капо — помощники нацистской администрации в концентрационных лагерях и лагерях смерти, набирались из заключенных, в том числе евреев. Пытались выжить, по отношению к узникам капо проявляли чудовищную жестокость. В ряде случаев втайне от немцев капо помогали заключенным.

горят ваши матери, давайте помолчим». Ну, если она так с нами говорит, я решила рассказать ей о своей руке. «Твое дело плохо, — сказала она, — ты кандидат на смерть. Тебя на первой же селекции отправят в газовую камеру. Пока ты будешь убирать барак, но долго я тебя прятать не смогу. Скоро придет немец и будет требовать своих 150 девушек, которых отобрал в Белостоке. На вопрос, что ты умеешь делать, скажи — все что угодно, тебе надо вырваться отсюда, иначе ты погибнешь». В Майданеке я встретила греческими еврейками. Им было очень тяжело. Мы знали кто идиш, кто немецкий, а они не понимали ничего, над ними издевались страшно. Они были такие красивые, они пели, танцевали.

Мама часто говорила: «Ах, Алка, какие они были красивые! Они пели какие-то гимны солнцу, — никогда не забуду, как группу греческих девушек, стройных, смуглых вели в газовые камеры, они протягивали руки к солнцу и пели какие-то молитвы». Так и стоят у меня перед глазами эти тонкие смуглые женские фигурки. Они сливаются с египетскими изображениями молящихся девушек, они протягивают руки к солнцу и поднимаются по длинной лестнице наверх, в небо, и там, далеко в небе, исчезают.

Когда приехал немец, нас вывели на плац. Я стояла равнодушно, я вообще была очень слабая. Сто девушек он отобрал сам, потом ему надоело, и он просто отделил еще пятьдесят девушек — я была в последней пятерке. Моя двоюродная сестра осталась в Майданеке.

Попали мы в Ближин. Там были швейные заводы, на них шили одежду для армии. Меня встретили оставшиеся в живых люди из Радома и Ченстохова. Отношение ко мне было изумительное. Моя рука не двигалась, раны на месте порезанных вен зажили, но в этих местах выросла соединительная ткань, так называемое «дикое мясо», и не давала руке сгибаться. Они старались делать за меня мою работу. Очень страдали ребята. Я отдавала половину моего пайка, мне много было не нужно. Мне было их ужасно жалко, они так мучились, это же были наши белостокские ребята. Немцы издевались страшно, били, убивали. Один парень потянулся за картошкой, они выстрелили ему прямо в рот, так что всю голову разнесло. Работали мы в две смены, особенно тяжело было в ночные. Расстрелы были бесконечные, перед нами часто вы-

страивали шеренги и расстреливали, один парень из России перед расстрелом кричал: «За Сталина!» Были побеги, но почти все они кончались провалами. Бежать было трудно, а поляки выдавали, хотя у нас на руках еще не было номеров. Люди из Радома, Ченстохова нам помогали, они приехали еще с какими-то вещами, мы же пришли из Майданека практически голыми. В Ближин прибыл в полном составе госпиталь из Белостока с врачами и медсестрами. Они тоже миновали Майданек. Так что мы имели там свой госпиталь. Мы были одна сплоченная семья. Когда нас закрывали, мы пели, рассказывали друг другу истории. Доктор Цитрин снял нарощенное дикое мясо с руки, так что она стала действовать. В лагере разразилась эпидемия тифа. Немцы хотели нас всех уничтожить, а лагерь сжечь, но доктор Цитрин пообещал, что лагерь спасет, и спас. Это было хорошее время, немцы боялись заходить в лагерь, охраняли только снаружи. Эпидемия была страшная, я как собачка валялась на соломе и выжила. Интересно, что более слабые выживали, а более сильные погибали. Лагерь был полностью еврейский, где-то дальше был лагерь, где содержались поляки. Вообще вся территория Польши была лагерями усыпана.

Потом нас перевели из Ближина в Освенцим. Начальник Ближина оставил вагоны открытыми, чтобы мы не задохнулись, даже давал нам кофе, вообще старался облегчить дорогу. Потом это ему помогло, когда его судили, он говорил: «Спросите белостокских евреев, как я их перевозил».

Но в Освенциме уже были свои правила. Тогда шли венгерские евреи, свозили остатки Варшавского гетто, там уже были евреи со всей Европы. Многие французы знали идиш. Там нам вытатуировали номера. Целыми днями заставляли заниматься тяжелой физической работой, например, перетаскивать камни с одного места на другое, все время били. По лицу меня не били, я помню, как немец занес плетку над моим лицом и не смог ударить. И бесконечные — по 6–7 часов — стояния на плацу.

Потом начался отбор в лагерь вокруг. Нас отправили в Селезию в город Жабже, в лагерь Хинденбург — 300 евреев и 150 цыганок. Цыгане были особый народ. Обменивали хлеб на сигарету, пели, плясали. Начальницей кухни была Маули — красивая, веселая цыганка. В нее был влюблен один из гестаповцев, она их нена-

видела. Помогала нам, чем могла, говорила: «Работайте, когда он (гестаповец) приходит, а так — не надо».

Мы работали на предприятиях тяжелой промышленности. Я попала в ладокоманде — грузовые команды. Нас, четырех девушек, возили на одном грузовике с четырьмя вооруженными немецкими охранниками. Когда мы проезжали город, то со всех сторон слышалось «Враги, враги» — поляки нас ненавидели. Когда мы сгружали товар, его принимали французские военнопленные; они нам помогали. У них положение было значительно лучше — они получали посылки из Красного Креста. Они нам давали даже шоколадки. Все, что нам удавалось достать, мы старались пронести с собой в лагерь. Я знала французский и с ними говорила. Они нам рассказывали о последних событиях на фронте. Все понимали, что войне скоро может наступить конец. Это уже был 1944 год.

На завод прибыли русские военнопленные. Смотрю — один, его звали Ваня, тащит мне кусок хлеба. Я ему говорю: «Тебе нельзя мне помогать, у вас же страшное положение». — «Но ты же родная, ты говоришь на русском языке». Группу русских военнопленных охранял один солдат, а у нас четырех человек охраняли четыре солдата. В какой-то момент под станками в мастерской стала появляться еда. Когда немец-мастер понял, что мы догадались, он сказал, что если кто-либо узнает, его арестуют. Мы загружали вагоны частями для самолетов, которые брали в мастерских.

В мастерских работал один пожилой немец, Надель. Услышав, что у меня немецкое имя, он меня спросил: «А что ты здесь делаешь?» — «Я еврейка». — «Ну и что, что еврейка. А где твои мама, папа?» Они делали вид, что ничего не знали. Его мобилизовали в армию в конце 1944 года. Мы понимали, что в армию берут всех подряд, что это уже конец войны. Мы уже так распоясались, что говорили немцам: «Присматривайтесь, как мы живем, возможно, вам тоже придется так жить». Они уже нас не стреляли, они даже увеличили паек, боялись, что мы умрем с голоду. Они жили спокойно — по сравнению с тем, что творилось на Ост-фронте. Они очень боялись русского фронта.

У нас была надсмотрщица очень маленького роста, она была одного роста со своей овчаркой, звали ее Борман, говорили, что она двоюродная сестра того самого Бормана. Начальником Хин-

денбурга был тот же, кто был главой 11-го блока в Освенциме, блока смертников. Она там тоже работала. Она очень любила музыку. Среди нас было много музыкантов, певцов, актеров. Как раз в это время прибыла группа немецких евреев — работников театра.

После возвращения с работы Борман нас тщательно обыскивала. В мастерских я познакомилась с одним французским военнопленным. Он очень хорошо ко мне относился, говорил, что война закончится и что если я спасусь, чтобы я приехала к нему в Париж. Однажды он принес мне обрывок французской газеты, где говорилось о положении на фронте, о поражении немецких войск. «Берта, немцы скоро будут разбиты, конец войны близок!» Я решила пронести этот обрывок газеты в лагерь. При обыске Борман приказала нам раздеться и обнаружила его, она спустила на меня свою овчарку, которая вцепилась мне в ногу, боль была ужасная!

Следы зубов бормановской овчарки на всю жизнь остались на ноге у мамы под коленом — пять крупных заросших вмятин. Я часто рассматривала их, каждый раз, когда я на них смотрела или дотрагивалась, мама возвращалась к тому моменту, когда овчарка вцепилась ей в ногу. Ненависть к овчаркам и страх перед ними она сохранила на всю жизнь. Как только на пути у нас оказывалась эта собака, мама прижимала меня к себе и мы шарахались в сторону. На всю жизнь сохранила и я пусть не страх, но неприязнь к этой породе собак.

И вот в конце 1944 года они нас вернули в Биркенау. Русские уже подходили, временами была слышна артиллерия. Немцы были растеряны. Нас вывели, поставили в шеренгу, приказали раздеться. Мы знали, что нас должны расстрелять. Я стояла и равнодушно ждала расстрела. Нас продержали так несколько часов, видимо, ждали приказа. Приказа не последовало.

Этот рассказ меня всегда настораживал. Мысль, что мама стояла перед немцами без одежды, меня страшно смущала. «А тебе не было стыдно, что ты голая стояла», — спрашивала я маму. «Мне было все равно, Аллочка, в каком я виде, убьют меня или оставят в живых, мне было безразлично».

Я маме не верила. В детском саду во время тихого часа моя подружка Анька, развеселившись, стала громко смеяться и прыгать

в кровати. В спальню ворвалась воспитательница, сорвала с Аньки одежду и оставила голой стоять в кровати для всеобщего обозрения. Спальня была общая для девочек и для мальчиков. Голое Анькино тельце, синеватое, покрытое пупырышками от холода, тихонько вздрагивало от сдерживаемых слез. Мы в ужасе замерли в своих кроватях, наблюдая из-под одеял за несчастной дрожащей Анькой, никто не хотел разделить ее участь.

Через некоторое время нас пешком погнали по Германии. Гестаповцы шли с нами, они уходили от Восточного фронта. Шли мы пешком, тех, кто отставал, убивали, в тех, кто пытался поднять еду, например, картошку на дороге, стреляли, шаг в сторону — расстрел на месте. Ели мы снег, на ночь нас загоняли в деревнях в хлевы. Мы видели конец Германии. Над головой летели бесконечные самолеты — английские, американские. Навстречу нам шли колонны молодых немцев, пятнадцати, шестнадцати лет, уже не в форме, а в домашней одежде. Их гнали на фронт. Мы понимали, почему нас оставляют в живых: эсэсовцы боялись фронта. Они гнали нас туда, куда должны были прийти англичане и американцы, в победу они не верили. Дорога была страшная. Я иногда говорила, что не могу больше идти, раненная нога страшно болела. Ребята меня держали под руки, поддерживали: «Ну еще, еще немного, ты же видишь — это конец!» Мы шли, шли очень долго. Потом, когда они поняли, что не доведут нас, нас погрузили в конусные вагоны для угля. Нас не посадили, нас побросали, как поленья. Тут я была уже почти без сознания. Я не помню, по какой территории нас везли, но помню, что были слышны выстрелы — они стреляли в людей, которые бросали нам хлеб, шоколад, видимо, это уже была Чехословакия*. Я потеряла сознание и очну-

* В межвоенные годы как высшее политическое руководство страны, в том числе президенты Чехословакии Т. Г. Масарик и Э. Бенеш, так и большинство представителей интеллигенции стояли на филосемитских позициях. Чехословацкому еврейству был предоставлен статус национального меньшинства. После оккупации немцами Чехословакии в марте 1939 г. и раздела страны большинство населения протектората Богемии и Моравии отрицательно относилось к антисемитской политике немецких властей. В высший руководящий орган подпольного движения — Государственный совет Чехословакии — входили четыре еврея.

лась только тогда, когда нас стали разгружать в каком-то мужском концлагере, видимо, в Бухенвальде*.

Через семьдесят лет я оказалась в Кракове. Гостиница в Кракове, портье передает мне ключи от номера: «Мы предоставляем различные услуги нашим клиентам — хотите, завтра есть экскурсия в Освенцим». Я вздрагиваю. «Не надо», — в голосе ужас. Портье пожимает плечами: хотела как лучше.

Изумительной красоты костел, рядом вход в туристическое бюро. На дверях большой плакат: «Освенцим-Биркенау — 80 злотых, отправление каждый день». Рядом гогочущая толпа немецких парней: любят красотами. «Абвер здесь располагался, в этом здании был Абвер?» — теребят экскурсовода симпатичные немецкие старушки.

Площадь у старой синагоги — музей исчезнувшей еврейской общины Кракова. Недалеко скромный памятник: «На этом месте в 1943 году было расстреляно 30 поляков». Вокруг площади бесчисленные кафе, столики под белыми зонтиками забиты туристами. По всему центру разъезжают маленькие открытые вагончики на

* Бухенвальд — нацистский концентрационный лагерь, созданный 16 июля 1937 г. в нескольких километрах к северу от Веймара. Первый эшелон с немецкими евреями прибыл в Бухенвальд летом 1938 г. После событий Хрустальной ночи 9–10 ноября 1938 г. в Бухенвальд было заключено около 10 тыс. евреев, к которым относились значительно хуже, чем к заключенным других национальностей. К концу 1938 г. 9 300 евреев были освобождены и вместе с семьями покинули Германию. 600 евреев погибли в лагере. После начала Второй Мировой войны в Бухенвальд стали отправлять евреев из Германии и Чехии (протекторат Богемии и Моравии). В сентябре 1939 г. в Бухенвальде содержались 2 700 евреев. 17 октября 1942 г. евреи из Бухенвальда, за исключением 204 рабочих, были депортированы в Освенцим. 18 января 1945 г. нацисты начали эвакуацию заключенных Освенцима и других лагерей смерти Восточной Европы; тысячи из них были отправлены в Бухенвальд. 6–7 апреля 1945 г. немцы эвакуировали большинство евреев Бухенвальда; 25 тысяч из них погибли в ходе эвакуации. Накануне освобождения лагеря американцами 11 апреля подпольная организация, в которую входили евреи, взяла в свои руки контроль над лагерем. Были освобождены 21 тыс. заключенных, в том числе 4000 евреев.

колесах с рекламой: «Гетто, еврейский квартал, фабрика Шиндлера». Без конца зазывают: «В гетто! Кто хочет в гетто?» Поздно вечером мимо проносится такой вагончик, забитый пьяными, пританцовывающими девицами в черно-белых костюмах зайчиков из «Плейбоя». Из вагончика разносится громкая задорная музыка и гомерический хохот.

В стороне от центра — просторная площадь. На ней немцы проводили селекции, расстреливали, отправляли в концлагеря обитателей Краковского гетто. Площадь пуста, на ней в несколько рядов стоят черные железные стулья. Людей вокруг почти не видно. Тишина.

Мы уже знали, что это конец войны, осталось только выжить, а сил на это уже не было. Нас загнали в бараки, окружили нас люди, говорящие на немецком, мы уже точно не знали, были это заключенные немцы или немецкие евреи. Там даже одна женщина родила ребенка, — были среди пленных врачи, которые ей помогли. В это время начался страшный налет союзных самолетов. Немцы попрятались, они очень боялись бомбежек, в Освенциме и вокруг их никто не бомбил. Мы оказались сами по себе, без охраны, проговорили всю ночь. Наутро всех мужчин оставили, а женщин посадили в теплушки по сорок человек и повезли в Берген-Бельзен. Я думаю, что ночь мы провели в Бухенвальде, потому что после освобождения Берген-Бельзена приходили ребята из Бухенвальда, искали меня, уговаривали пойти с ними, но я уже двигаться не могла.

Когда мы прибыли в Берген-Бельзен, там уже было много немцев, поляков после Варшавского восстания. Там было страшно. Люди были свезены со всей Европы. Лагерь был огромный. Сначала они нас кормили, потом почти перестали, люди без дела бродили по лагерю. Без конца приходили поезда, была зима. Когда открывали вагоны, часто оттуда как бревна вываливались замерзшие трупы. Это уже была не жизнь лагеря, это уже была жизнь смерти. Начались страшные болезни. Мы все были покрыты вшами и искусаны крысами, тех и других в лагере было множество. Мое счастье, что я перенесла тиф в Ближине: люди умирали поминутно. Если в бараке кто-нибудь умирал, то сами обитатели барака его вытаскивали и сбрасывали в ров. Последние месяцы

нам давали брюкву, сваренную без соли, из меня уже шла просто вода.

Когда англичане с самолетов стали сбрасывать пищу, люди хватили ее и погибали. Мое счастье было, что я уже ничего не воспринимала, лежала в бараке и умирала. Мы все знали, что надо было выжить, а выжить было очень сложно.

Когда лагерь был освобожден, к нам в барак пришли врачи и студенты-медики из Канады. Они говорили между собой на французском. «В бараке, видимо, никого не осталось в живых, надо закрывать», — услышала я. «Я жива, и я хочу жить», — с трудом проговорила я. Они выслушали и пошли дальше. Я подумала, что ну и ладно, ну и умру, ведь умирали же каждую минуту. Потом вдруг вернулся медбрат с носилками и с еще двумя ребятами, они сорвали с меня одежду со вшами, переложили на носилки, и я потеряла сознание.

Возвращение

Очнулась я в большой палате. Там было много людей, среди них было большое количество цыган. Меня спасал один врач, француз. Он вставлял мне в горло какую-то трубку, я выбрасывала, он возвращался и вставлял опять. «Берта, — говорил он, — ты хочешь жить? Ты будешь жить». Они изумительно за мной ухаживали, эти канадцы. Сердце у меня билось, но были только кожа и кости, ходить я не могла. В госпитале была только холодная вода. Я научилась спускаться, держась за ножку кровати, я спускалась и ползла в душ. Становилась под холодную воду и чувствовала, что вместе с этой водой в меня входит жизнь. У меня уже появилось желание остаться жить. Но вокруг не было никого из родных. Ко мне приходили люди, которые могли ходить, и спрашивали, что я собираюсь делать. «Я хочу в Россию, у меня там сестра моей матери». — «Но ты же видела, что такое Россия!» — «Я не могу больше, я хочу семью. Куда я поеду?» Мама мне часто рассказывала о своей сестре; я ее никогда не знала, она уехала еще до моего рождения, знала только, что она живет в Москве. В Польшу я категорически не хотела возвращаться. Я знала, что вся моя семья уничтожена. В госпиталь стали приходиться делегации из разных стран, они за-

бирали своих граждан. Я всем говорила, что я студентка из Москвы и приехала в Белосток на каникулы. 9 мая к нам в госпиталь пришли американцы, задавали вопросы, я им отвечать не хотела. Они смотрели на нас как в музей — мы были кожа и кости.

По моей просьбе меня отправили в российский госпиталь. Мою кровать окружили украинские медсестры и стали спорить, цыганка я или жидовка. Когда я это услышала, я упала в обморок. Меня привели в сознание, спросили, что со мной. Я слышала слово «жидовка» в Польше, в Германии, теперь — на территории российского госпиталя. Но что делать, осталась жива — надо было жить дальше.

В Россию нас везли на санитарном немецком поезде, говорят, это был личный поезд Гитлера. Были спальные вагоны и открытые платформы с креслами для отдыха. Мы проезжали разбитую Германию. Я помню Гамбург. Он был разбит до ужаса. Где мы останавливались, я не помню. Все было так тяжело, так противно. Среди врачей было несколько немецких военнопленных. Когда кто-то из них подходил ко мне делать укол, я говорила — уходи, может быть, пройдет время, но сейчас я видеть вас не могу, пока еще на немцев я смотреть не могу, может быть, пройдут годы, не сейчас. Один из немецких врачей говорил мне: «Девочка, что ты делаешь, куда ты едешь? Ты едешь в сталинскую Россию! Это страшная страна, даже идею концлагерей мы взяли у них». Слушать его я не хотела.

Через Польшу нас везли на машинах — говорили, что поляки взрывают железнодорожные пути. Видела очень много повешенных людей. Я помню, как в госпитале молодой поляк спросил меня: «Девушка, что ты такое сделала, что тебя послали в лагерь?» «Я еврейка», — отвечаю. «Ну и что?» Многие люди не знали и не понимали, через что мы прошли. Это чувствовалось и на территории России. Нас поместили в какие-то лагеря для перемещенных лиц. Наконец появились работники НКВД. «Где люди, которые были в концлагерях?» — вышли две женщины из Прибалтики, одна из Венгрии и я. Меня отвели в кабинет к работнику НКВД, он стал задавать мне вопросы. Где я была? «Ближних не пиши, ты там работала». — «Но я работала не по своей воле!» Он продолжал меня инструктировать: «Майданек — пиши, Освенцим — пиши,

Берген-Бельзен — очень хорошо. Главное, чтобы не узнали, что ты на немцев работала, — ты предатель». — «Какие мы предатели? Это вы предатели, вы оставили нас в Белостоке, не предупредив о начале войны». — «К тете в Москву ты, конечно, не попадешь, последний город, в который ты можешь попасть, это Воронеж»*.

Я получила право жительства в Воронеже на шесть месяцев без права выезда. Когда я ехала в поезде, мне люди давали немного денег, но по дороге все эти деньги украли. Я прибыла в Воронеж. Куда идти? Я была ужасно одета. Мне сказали — иди в НКВД. Был конец дня. Я подошла к окошку, говорю: «Я бывшая узница концлагерей». Закрыли передо мной окошко и сказали: «Завтра приходи». Я побрела по городу, идти мне было некуда. Смеркалось. Я забрела в парк, села на скамейку. Все, что мне оставалось, это умереть. Я решила покончить с собой. Вдруг появился какой-то военный. Впоследствии (его фамилия была Перцовский) он вспоминал: «Я возвращался домой через парк и увидел худенькую одинокую девушку, сидящую в темноте на скамейке. Я подошел к ней и стал расспрашивать, она рассказала свою историю, идти ей было некуда». Военный жил в общежитии и переночевать у него я не могла. Он отвел меня к живущей неподалеку одинокой женщине с ребенком. Звали ее Мария. Она впоследствии спасала меня, у нее была корова, и она отпаивала меня парным молоком.

Часто, с необыкновенной теплотой рассказывая об этой простой женщине, мама говорила мне: «Какой удивительно добрый русский народ!» Ее рассказы о русских людях всегда были окрашены в очень теплые тона. Она восхищалась ими, встречая в концлагерях: «В отличие от нас они были выносливые, никогда не унывали, всем помогали». Это разительно отличалось от ее восприятия немцев, поляков или украинцев, — порядочные люди среди них упоминались в виде исключения.

* Лицам, лояльность которых по каким-то причинам вызывала сомнения советских властей, запрещалось проживание в крупных городских центрах. Запрет распространялся на некоторые категории бывших заключенных, на бывших эмигрантов, вернувшихся из-за границы, а также на многих из людей, находившихся в нацистских концентрационных лагерях или лагерях смерти.

Каждую неделю работник НКВД вызывал меня и все спрашивал, как я могла приехать в Россию. Я никак не могла понять его. Объясняла, что была в тяжелом состоянии, ноги у меня еще и тогда были опухшие, живот огромный — последствия тяжелой дистрофии. «Что ты делала у немцев? Почему ты осталась у немцев?» — «Это вы меня оставили», — отвечала я.

Перцовский поехал в Москву и нашел мою тетю Соню. Еще будучи в госпитале, я писала ей письма на адрес: Москва, Кремль, тете Соне Сокольской. Тетя пыталась меня вытащить из Воронежа, но ничего не получалось. Тогда она пошла к С. Михоэлсу. Он начал ее ругать, — зачем она всем рассказывала про свою племянницу из Польши (ее же за это тоже могли посадить), — а потом дал дельный совет: чтобы тетя записала меня в списки строительных рабочих. Тогда набирали бригады со всей страны для строительства Москвы. Таким образом, я попала в Москву.

Я все никак не могла понять, где я нахожусь, поверить, что люди могут быть такими плохими. Меня все время заставляли подписывать какие-то документы, требовали давать какие-то показания. Было впечатление, что я враг, шпион. Когда я уже получила разрешение на въезд в Москву, я пришла к этому майору и спросила, могу ли я ехать. «А зачем тебе уезжать?» — спросил меня он. — «Мне плохо, я больная». — «Евреи всегда больные». Тогда я поняла, с кем имею дело.

Глава III. Советские будни

Тетя Соня! Берта ехала в Москву к тете Соне — пламенной, мужественной коммунистке, младшей дочери в семье Сокольских. Она была не похожа на остальных сестер: сильная, целеустремленная, бесстрашная. О ней и ее судьбе среди сестер ходили легенды. А сейчас она к тому же была единственным человеком, оставшимся в живых, — из всей семьи, из разрушенного мира моей мамы. Там, в доме тети Сони, мечтала она найти покой, отдохнуть, укрыться от ужасов окружающего мира. Наконец она добралась до Арбата, нашла нужный ей дом и постучала в квартиру, где в одной из комнат огромной коммуналки и жила тетя Соня с двумя дочерьми, двадцатилетней Галей и десятилетней Ирочкой.

Ира впоследствии вспоминала: «Война вошла в наш дом с первых же дней. Папа в сорок шесть лет вступил в народное ополчение и погиб в окружении под Смоленском. Мы с мамой и сестрой были эвакуированы в Чебоксары.

Несмотря на невзгоды эвакуации, я не представляла всех ужасов войны. Появление в моей жизни двоюродной сестры Берточки сыграло основную роль в осознании этой страшной трагедии.

К моменту ее приезда в Москву мне было десять лет. Тогда мы (мама, сестра и я) еще не знали, живы ли наши родные в Белостоке (правда, мама еще в 1943 году, после возвращения из эвакуации, пыталась узнать об их судьбе). С фотографий на нас смотрели молодые лица и среди них красивая светлоглазая девушка со скромной прической и милой улыбкой — наша Берточка. Когда я открыла дверь, передо мной стояла болезненно рыхлая женщина с отеками ногами, с белым застывшим лицом и полным отсутствием мимики. Это было не лицо — это была маска.

Берта была не похожа ни на одного из окружавших нас людей. Улыбаться она не умела, а когда пыталась смеяться, то из ее горла вырывался звук, похожий на лай. Берта осталась жить с нами. По-русски она говорила с сильным польским акцентом, как-то особенно мягко произнося букву «л». Постепенно по мере общения

с нами она менялась. Она как будто оттаивала. И вот она стала рассказывать о том кошмаре, который ей пришлось пережить в фашистских лагерях. Если бы только рассказы, от которых шевелились волосы, — был еще номер, вытатуированный на левой руке ниже локтя, который ей долго-долго приходилось скрывать. Впоследствии она попыталась его уничтожить. В мастерской ей выжгли кожу в том месте, где был номер. Боль была страшная. Теперь вместо синих цифр номер проступал рубцами. Именно от Берты мы узнали о том, о чем догадывались: все наши родственники погибли — кто в гетто, кто в концлагерях. Из большой семьи нас осталось всего четверо. Это уже была та война, о которой я ничего не знала.

Берта долго путала русские слова и выражения, иногда получалось забавно. Так, однажды вечером она нам рассказала, как на улице что-то испугало ее, и она упала: «Сегодня я шла по улице, у меня сделался вздрыв, и я выложилась на мостовую». К тому времени она уже научилась смеяться и смеялась вместе с нами».

Легендарная тетя Соня, о героизме и мужестве которой ходили легенды в семье Сокольских в Белостоке, оказалась уставшей, испуганной маленькой пожилой женщиной. Почти все ее соратники, с которыми она приехала из Белостока и жила на Арбате в доме так называемого «польского правительства», были посажены. Однажды тетя Соня взяла Берту на Красную площадь — на Первомайскую демонстрацию. Там мама впервые увидела Сталина. «Тетя Соня! — с восторгом прокричала она. — Там, смотрите, это же товарищ Сталин!» — «Тише девочка, тише, — ты не знаешь, какое перед тобой чудовище, ты, к сожалению, еще многого не знаешь и не понимаешь».

Мама устроилась на работу экономистом планового отдела одного из строительных управлений Москвы, так как еще в Польше окончила коммерческий лицей. Экономистом она работала и в дальнейшем.

Сокольские жили в относительно большой комнате. Старшая дочь Сони, Галя, которая к тому времени вышла замуж, жила с мужем за занавеской в одном конце комнаты, Ирочка с тетей Соней ютились за другой занавеской, Берта — за третьей. Берта понимала, что надо уходить из этой квартиры, надо строить собствен-

ную жизнь, да и Миша, муж Гали, молодой студент-физик, отнесся к ней подозрительно: «Откуда мы знаем, что ты делала в плену на вражеской территории?» Жить одна, в отдельной комнате Берта не могла. Как только она оказывалась одна, комната мгновенно наполнялась тенями убитых — братьев, сестры, мамы, школьных подруг, картинами гетто, лагерей, выстрелами, криками... Берта мечтала создать свою собственную семью — и вот однажды она встретила Шаховского.

Отец

Мой отец, Гершел Лейбович Пинкусович, родился предположительно в 1901 году в городе Минске. Предположительно — потому что, по словам моей матери, он сознательно уменьшил свой возраст, чтобы не попасть на фронт в годы Первой мировой войны. Мой дед бросил мою бабушку с двумя маленькими детьми и уехал с молодой любовницей в Америку. Отец же в возрасте двенадцати лет с матерью и братом переехал в Одессу. Его мать торговала на Привозе, чтобы как-то заработать себе на жизнь, а отец стал уважаемым членом местной подростковой банды. Институт он заканчивал в Минске, там же стал преподавать в школе русский язык и литературу и женился на одной из своих учениц. Женщин он любил, не пропускал ни одной, и жена за разгул выгнала его из дому. Как он попал в Москву, когда написал сценарий фильма «Зори Парижа», и как познакомился с известным киносценаристом Григорием Рощалем, мама мне не рассказывала. Фильм был снят в 1936 году и с тех пор долгое время в Советском Союзе его показывали по телевизору в день Парижской коммуны. Чтобы сомнительная фамилия не раздражала зрителей, Гершел Лейбович Пинкусович стал Григорием Леонтьевичем Шаховским — взяв фамилию первого русского драматурга князя Шаховского: скромность не была отличительной чертой моего отца. Впоследствии с моей фамилией было связано много курьезов. Как-то меня хотели познакомить с настоящей княгиней Шаховской, которая, пережив все ужасы советской власти, тихо доживала свой век в Крыму. «Давайте пожалеем старушку, — сказала я, — если ее не добила советская власть, то точно добьет мое появление». На мою свадьбу друзья сочинили частушку:

У княгини Шаховской
Нос такой и муж такой.
Вот они, напасти
При советской власти!

Написав сценарий к фильму «Гаврош», который вышел в 1937 году, отец пошел в гору. Перед войной он занял пост секретаря «Мосфильма». В 1941 году «Мосфильм» в полном составе был отправлен в эвакуацию в Алма-Ату. Там авантюризм моего отца сыграл с ним злую шутку: он начал спекулировать солью, попался, его судили и отправили на фронт. Насколько я знаю, воевать ему не пришлось. Организовав концертную бригаду, в которую вошла восходящая тогда звезда актриса Вера Марецкая, снимавшаяся в фильме отца «Зори Парижа», он стал разъезжать по фронту с концертами. Затем решил написать сценарий фильма о генерале Н. Ватутине. Писать было трудно — у генерала не было пристрастия ни к женщинам, ни к алкоголю, но игра стоила свеч, так как отец стал своим человеком среди советских генералов. У него потом долго хранились именные часы, которые ему подарил генерал Л. Свобода. Вернувшись в Москву после войны, он стал работать со сценаристом Е. Габриловичем, который принял сценарий отца о генерале Н. Ватутине, пообещав позже (в то время был переизбыток фильмов на военную тему) сделать по нему фильм. С Габриловичем отец разругался, так как не хотел делать за него черную работу, становиться при нем «литературным негром», как он объяснял маме. В те же годы он написал сценарий фильма «Студенты». Фильм сняли, но после просмотра его И. Сталиным запретили к прокату как слишком вольнодумный. Звездная карьера моего отца подошла к концу.

Берта вышла замуж за Шаховского (она всегда называла его Шаховским) не от хорошей жизни. Приехав в конце 1946 года в Москву и немного оправившись от перенесенных страданий, она мечтала выйти замуж и создать собственную семью. Одна из этих попыток окончательно похоронила ее мечту жить с любимым человеком: она влюбилась в какого-то парня, они решили пожениться, — но узнав о ее судьбе, о ее пребывании в немецких концлагерях, он так испугался, что даже о решении отказаться от свадьбы

сообщил маме через свою сестру. Шаховской не боялся ничего. Он был старше мамы на двадцать лет и к тому времени развелся с третьей женой. Берта рассказала ему о своей судьбе, он отнесся к ее рассказу спокойно — мамино прошлое его нисколько не испугало. В 1948 году они поженились. И началось их совместное путешествие по просторам Советского Союза — отец занялся документальным кино. В Средней Азии он писал о жизни чабанов — и мама ездила на верблюдах и ела мясо с бараньей кости, которую в знак дружбы с известным кинематографистом пускали по кругу чабаны, сидя у костра. Затем их занесло в Молдавию, где отец писал о строительстве Дубоссарской ГЭС. Там, как рассказывала мама, он умудрился провороваться, и им пришлось срочно уехать. Оставаться на одном месте отец не мог. Вещами он тоже не обрстал. Единственный чемодан с одеждой, который возила с собой мама, он на каком-то полустанке выбросил в колодец, объяснив, что настоящую творческую личность вещи только обременяют. Тогда же на какой-то станции он продал и часы генерала Свободы.

В 1956 году после долгих мытарств отец заключил с Ялтинской киностудией договор на сценарий фильма о великом русском живописце И. Айвазовском и ничтожестве — английском художнике У. Тернере (утонченным вкусом отец не отличался никогда). Но склонность к авантюрам опять подвела его: он получил деньги за сценарий, продал его одновременно Ялтинской и Одесской киностудиям. Выяснилось это быстро, из Ялтинской киностудии его выгнали, а на Одесской по его сценарию был поставлен телевизионный фильм.

После моего рождения отец задержался в Ялте ненадолго. Подцепив очередную любовницу, красавицу-армянку Аллу (на тридцать пять лет младше него), и пообещав сделать ее соавтором своего будущего сценария, отец уехал в неизвестном направлении.

Однажды, когда мне было восемь лет, дверь нашей общей квартиры открылась и в коридор вошел высокий мужчина средних лет в длинном сером плаще. «Вы кто?» — спросила я. «Я твой папа, девочка». Сердце мое остановилось. У меня есть папа! Этот большой, красивый и сильный мужчина — мой папа! Он вытащит нас из этой жизни, он защитит нас от злых соседей, мы больше не будем так одиноки! У меня есть отец! Я задыхалась от счастья.

Я не знала, как угодить своему папе. Я видела мамины глаза — они были веселые. На следующее утро я пошла в школу. Скорее бы закончились уроки, дома меня ждет папа! Я бежала домой, задыхаясь, влетела в комнату — папы там не было. «Мама, где папа?» — «Он ушел, — спокойно ответила она, — он ушел и никогда больше не вернется. Он пришел попросить у меня три рубля, я ему не дала, и он ушел».

Больше я никогда отца не видела. Иногда к нам приходили из ОБХС, искали его: он морочил головы каким-то женщинам, забирал у них документы и — почему-то — трудовые книжки. В Ташкенте писали о человеке по фамилии Шаховской, который представлялся киносценаристом, снимал номер и исчезал, не заплатив. Илья Шатуновский, известный в 50–60-е годы фельетонист, написал о нем в газете «Правда» фельетон под заголовком «Новый Остап Бендер». В 1968 году мама получила письмо от некоей Беллы, последней спутницы моего отца, где та сообщала, что его «ограбили и убили бандиты в Майкопе, и от него остались макинтош и куча рукописей».

31 декабря, когда мне было двенадцать лет, мы получили ключи от новой отдельной однокомнатной квартиры! Мама работала в Ялте экономистом в плановом отделе строительного управления — и это управление, наконец, предоставило ей квартиру. Мы захватили с собой в этот вечер лишь пару чемоданов, шампанское и раскладушку. Усевшись на чемоданы и включив радио, мы под бой кремлевских курантов подняли бокалы с шампанским. Да здравствует новая отдельная квартира! Да здравствует новая жизнь! Так мы встретили новый 1969 год. Эта встреча Нового года была одной из самых счастливых в моей жизни. Прощай, общая квартира! Прощайте, соседи-антисемиты! Мы начинаем новую жизнь! Видимо, это и было мое прощание с детством.

Школьные мои годы ничем примечательны не были. Мама с трудом устроила меня в английскую спецшколу, единственную в Ялте, — она очень хорошо понимала, как важно владеть хотя бы одним иностранным языком. Она пыталась учить меня польскому или французскому, которыми она хорошо владела, но не удалось: я категорически отказывалась.

Ялтинская школа №12 с преподаванием ряда предметов на английском языке была единственной в своем роде не только на Крымском полуострове, но и, думаю, во всем Советском Союзе. Форма у нас была как у английских школьников — юбки, брюки и пиджаки цвета морской волны, рубашки на каждый день зеленоватые, а парадные — белые, правда, с обязательным красным галстуком. Форму нам шили на заказ в местной швейной мастерской. В старших классах нас разделили на три группы по уровню изучения английского языка — тоже согласно английской школьной системе. Первая группа изучала язык по усложненной программе, вторая — по стандартной программе английских школ, а третья, самая слабая, занималась по облегченной программе. Я училась в первой группе. Моя классная учительница Эльза Васильевна в классном журнале в графе «национальность» записала меня полькой. Сама она, будучи наполовину гречанкой, маленькой девочкой была депортирована из Ялты вместе с родителями*. Потом ее семье разрешили вернуться — отец ее был украинец. В национальном вопросе Эльза проявляла редкую чуткость. Впрочем, это не мешало ей ругать меня перед всем классом за то, что я неправильно произношу некоторые русские слова: «Дети, послушайте, как она говорит», — я произносила слова на польский манер, с ударением на предпоследнем слоге. Класс дружно смеялся.

Однажды к нам в класс пришел новый мальчик. Нам было тогда уже двенадцать-тринадцать лет. Мальчик пришел к нам учиться на один месяц: летом он был в «Артеке», который располагался не-

* 11 мая 1944 г., за день до окончания Крымской операции войск 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма, было принято постановление Государственного Комитета обороны (ГКО) о высылке из Крыма крымских татар как «немецких пособников». 18 мая 1944 г. началось переселение всего крымско-татарского населения. Было выслано более 180 тыс. человек. 46% высланных погибли во время депортации и в первые полтора года после нее. 2 июня 1944 г. И. В. Сталин подписал постановление ГКО, предписывающее «выселить с территории Крымской АССР 37 000 немецких пособников из числа болгар, греков и армян». Все греки, болгары и армяне были высланы из Крыма 27 июня 1944 г. Было выслано 15 тыс. греков. Многие погибли в ходе высылки и в первые годы после нее. В 1956 г. народы, высланные из Крыма, за исключением крымских татар, получили разрешение вернуться.

далеко от Ялты, в Гурзуфе, у подножья горы Аю-Даг, и по каким-то причинам родители оставили его на сентябрь в Ялте. Звали мальчика Саша Коган, он был из Москвы. Мы замечали одну странность: когда учительница вызывала его для ответа и произносила вслух фамилию Коган, Саша отвечал не сразу, приходилось окликать его несколько раз. «А, да, да», — рассеянно отзывался он. В классе его не любили: у него было два крупных недостатка — он был москвич, и он был еврей. Практически каждый день после школы наши классные бандиты, братья Куцы, собирали компанию: «Эй, ребята, айда жида бить!» Доставалось этому Саше ужасно, мы его втайне жалели, но помочь не могли. Он был чужак. Через некоторое время после его отъезда в пионерскую организацию школы пришло письмо. «Уважаемые члены пионерской организации. К вам обращается Александр Ковалев, который учился у вас в школе №12 в 6-м классе «Б» под фамилией Коган. Я русский, но много слышал об антисемитизме и решил проверить на собственном опыте, что это значит. Поэтому я назвался евреем и взял фамилию Коган. Я прошу разобраться с тем, что происходит у вас в школе, так как поведение, с которым я столкнулся, несовместимо со званием советского пионера». Скандал был страшный. Директор школы провела с нами воспитательную работу. Братья Куцы сокрушались: «Вот незадача, а мы думали, что жида бьем».

Английский язык я не любила, да и вообще общение с окружающими вызывало у меня большие трудности. Мир был опасен, я относилась к людям настороженно. Иногда, когда я смеялась, мама вдруг раздраженно говорила: «Ну что ты смеешься, разве не понятно, что интеллигентный человек, зная, сколько горя вокруг, не должен смеяться». Ее любимым музыкальным произведением была ария Канио из оперы «Паяцы»:

Смейся, Паяц, и всех ты потешай!
Ты под шуткой должен
скрыть рыдания и слезы,
А под гримасой смешной
муки ада. Ах!
Смейся, Паяц,
Над разбитой любовью,
Смейся, Паяц, ты над горем своим!

Я очень хотела быть интеллигентным человеком, поэтому на своих школьных фотографиях я всегда запечатлена с унылым, страдающим лицом — лицом интеллигентного человека.

В своих интересах и увлечениях, кроме бесчисленных книг (а читала я с четырех лет), я хотела погрузиться в мир, в котором не присутствовал и не мог присутствовать человек. Так я стала изучать флору и фауну Юрского периода, понимая, что духа человеческого тогда не было. Но любовь к природе, которую привила мне моя няня, бабушка Мария Трифоновна, все-таки сказалась на моих увлечениях. Я стала изучать растения, допуская, что и в этой области можно обойтись без присутствия людей.

С английским языком я примирилась неожиданно для себя. В старшем классе мы несколько раз встречались с приезжающими в Ялту туристами из Америки. В нашем классе учились дети ялтинской элиты, в том числе дочь директора «Интуриста» Марина Шакурова. Нас сажали по два человека в туристический автобус с американцами и отправляли осматривать достопримечательности Большой Ялты. Болтали мы с ними, о чем придется. Американцы были веселыми, доброжелательными и непосредственными. Я обнаружила, что общаясь на чужом языке, ты проникаешься незнакомым миром, а свой собственный можно оставить глубоко внутри себя. Но вдруг одна из женщин спросила меня, кто я по национальности. Вопрос застал меня врасплох, я растерялась и, набравшись храбрости, покраснев до неприличия, выпалила: «Еврейка». Приготовившись к обороне, вжав голову в плечи, я с тревогой наблюдала за реакцией американки. Она посмотрела на меня с доброжелательным любопытством: «Еврейская девочка, как интересно!» И стала задавать вопросы. Помня, что история мамы — тайна, что любой намек на проблемы запрещен, я пыталась нарисовать ей стандартную картину жизни беззаботной советской школьницы. Больше с туристами я не ездила, тем более что на следующий день должна была приехать группа американских евреев. «Они могут задавать лишние вопросы, и вы должны тщательно думать над своими ответами», — предупредили нас учителя. Но к английскому языку я прониклась уважением.

Тайной мечтой моей жизни была Москва. Я мечтала уехать учиться в Москву, я мечтала о свободной студенческой жизни в

большом городе. К тому же в Москве жила тетя Галя с ее веселой семьей, ее друзья, а главное, мой троюродный брат Саша. В Москву! В Москву!

Но была еще одна причина, в которой я стеснялась признаться даже себе. Я стала уставать от мамы, от уныния, которое царило у нас в доме, от призраков моей погибшей семьи, от маминых воспоминаний. Меня это стало давить и даже пугать. Берта умоляла меня остаться в Крыму, учиться в Симферополе. Между нами случались душераздирающие сцены, с криками и слезами, но я твердо стояла на своем. Я знала, что расстаемся мы ненадолго, и в глубине души говорила себе: «Мама, я никогда не брошу тебя, но сейчас мне так нужно пожить собственной жизнью!»

После окончания школы я поступила в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева на отделение защиты растений. Об этом сообщили даже в новостях по ялтинскому радио. В 1974 году я покинула Ялту.

Глава IV. Эпоха бури и натиска. Моя жизнь в Москве

Москва захватила меня: толпы людей, среди которых можно затеряться, концерты, встречи, новые друзья, свобода! На летние каникулы я приезжала к маме в Ялту и с первого же дня начинала мечтать о возвращении в Москву. Однажды в московской квартире своего троюродного брата Саши я познакомилась с его другом Леней Прайсманом. Мы стали встречаться. Леня был преподавателем истории в Издательско-полиграфическом техникуме. История была его призванием; с самого раннего детства он увлекался книгами по истории. Романы Дюма сменились более серьезными художественными книгами, воспоминаниями, научными трудами. Особенно интересовали его война 1812 года, движение декабристов, наполеоновская Франция. Он много и подробно рассказывал мне об истории России и Европы, особенно о своем любимом периоде XIX — начале XX века. Ни мое поразительное незнание истории («Я тоже читала о декабристах, книгу “Евангелие от Робеспьера”», — как-то заявила я, судорожно пытаюсь поддержать разговор на историческую тему), ни предельно скромная аудитория, состоявшая из одной-единственной слушательницы в моем лице, его не смущали. Леня был блестящим рассказчиком, я — благодарным слушателем, и он открывал передо мной мир, который я сознательно для себя отвергла: историю стран и народов.

Однажды мы затронули тему, которая постоянно тревожила тогда еврейскую молодежь, — тему отъезда из Советского Союза. С одной стороны, каждый из нас сталкивался с бытовым или государственным антисемитизмом. Даже в таком относительно космополитическом по сравнению с Ялтой городе, как Москва, пресловутый «пятый пункт» часто мешал поступить в институт или устроиться на работу. Кроме того, мы не принимали советский режим, мы рвались в свободный мир. Леня вспоминал:

«У меня никогда не было сомнений, куда пойти учиться: естественно, на истфак. Родители и их друзья мне неоднократно го-

ворили, что с моими национальными данными мне будет очень трудно сделать какую-либо карьеру в гуманитарной области. Кроме того, они прекрасно сознавали, что с каждым годом я все больше и больше ненавижу окружавший меня советский режим. Хотя я был довольно послушным еврейским мальчиком, характер у меня был уже тогда, и учиться я пошел, куда хотел, — на истфак. Учился я легко, преподаватели меня любили. Они редко сталкивались с такой любовью к истории. В 1973 году я закончил исторический факультет МГПИ им. Ленина.

Дипломная работа была посвящена моему любимому наполеоновскому периоду: «Международные отношения от Аустерлица до Тильзита». Научным руководителем был доктор исторических наук, специалист по истории утопического социализма во Франции Г. С. Кучеренко. Он вел спецкурс по истории Франции в конце XVIII — начале XIX века. Ученик выдающегося историка Б. Ф. Поршнева, Кучеренко был хорошим специалистом по французской истории. Он хорошо относился ко мне, моя работа ему понравилась. После блестящей защиты диплома он сказал мне: «Леня, вы хотите поступить в аспирантуру. Но вы должны понимать, что с вашей национальностью вам там делать нечего, вас туда не возьмут. Хороший историк — а я считаю вас хорошим историком, — должен быть циником. Я вас призываю быть циником». В аспирантуру меня не взяли. С устройством на работу тоже возникли проблемы. Мне категорически не хотелось преподавать в школе — прежде всего потому, что там нужно было лгать. Я решил сделать все от меня зависящее, чтобы найти другую работу. Я методично обзванивал все места, где мог бы работать по специальности, прежде всего музеи и архивы Москвы. Но везде я наткнулся на отказ. Мой отец нажал на какие-то связи, и одному из руководителей Центрального государственного архива им. Октябрьской революции (ЦГАОР, нынешний ГАРФ) позвонили откуда-то «очень сверху». Я сидел у него в кабинете, он был со мной крайне любезен и искренне старался мне помочь. Он звонил при мне начальникам различных отделов и говорил, что надо взять на работу очень хорошего парня, историка по фамилии Прайсман. Я не знаю, что ему отвечали те, с кем он говорил, но судя по его репликам, они говорили примерно следующее: «Ты сам на нас постоянно давишь, что бы мы ни одного еврея ни в коем случае не

брали, а теперь от нас этого требуешь? Мы бы хотели, но ничего не можем сделать». Так в архив меня и не взяли».

К тому времени (1978 год) ворота Советского Союза были практически открыты для евреев. Те, на кого не распространялись ограничения, налагаемые так называемой «секретностью», могли подать просьбу о выезде и получить разрешение. Официально был разрешен выезд в Израиль в рамках воссоединения семей, на деле же люди, выезжавшие из Советского Союза, уезжали не только в Израиль, но и в США, Канаду и другие страны свободного мира.

«Ты знаешь, Алка, — сказал мне Леня, — я очень серьезно думаю об отъезде». «Я тоже», — ответила я. Ведь сколько раз с подростковой жестокостью я упрекала маму за то, что она приехала в Россию: «Мама, как ты могла! Ты же могла из Германии после английского госпиталя попробовать уехать в любую страну через лагерь перемещенных лиц. Я понимаю, ты не могла вернуться в Польшу — трудно вернуться на пепелище; ты не хотела ехать в Израиль — идея сионизма еще в Польше была чужда тебе; но почему не в другие страны? Почему в Советский Союз?! К коммунистам?! Ты же уже видела за два года оккупации Белостока, что они из себя представляют!» Мама слабо оправдывалась. Каждая страна, объясняла она, забирала своих подданных: Франция — французов, Голландия — голландцев... и еще ей очень хотелось иметь близких. «Я рвалась в Москву к тете Соне», — всегда повторяла она.

Мы поженились в 1979 году. Накануне свадьбы мама делилась со мной своим жизненным опытом: «Мужчинам не верь. Это порода такая. Они всегда врут и изменяют своим женам, только одни умеют прятать концы, а другие нет».

Леня стал моим мужем, близким другом и, как ни странно это звучит, соратником по борьбе, — потому что наш отъезд сопровождался тяжелой борьбой за выезд.

В конце 1979 года у нас родился сын Павлик. Накануне его рождения я судорожно готовилась к государственному экзамену по научному коммунизму, — я заканчивала последний год учебы в Тимирязевской академии, — но на экзамен так и не попала. Возможно, этот факт повлиял на то, что Пашка, чьи ночные бодрствования сопровождалась громким плачем, успокаивался только под звуки «Интернационала» — наши политические симпатии

не совпадали. Несколько месяцев мы ночи напролет ходили по квартире с Пашкой на руках и пели «Интернационал». Попытка остановиться или сменить мелодию вызывала требовательный, истощный Пашкин рев.

Я закончила учебу в академии. Мама переехала к нам в Москву в Большой Сухаревский переулок. Чтобы не сидеть дома, она устроилась секретаршей в расположенный неподалеку кожно-венерологический диспансер. Начались проблемы. Когда у нас в квартире раздавался телефонный звонок, Берта проворно поднимала трубку и отвечала: «Кожно-венерический диспансер слушает». Народ реагировал быстро, первыми бросали трубку мужчины. Берта смущалась, но своего поста у телефона не покидала.

Мы начали готовиться к отъезду из Советского Союза. Чтобы подать документы на выезд, нужно было получить приглашение от родственников из Израиля. Роль маминной сестры взяла на себя Ева Крацовская, с 1957 года живущая в Израиле. Власти стали закрывать выезд. Приглашения, отправленные по почте, не доходили. Нам прислали вызов в посольство Нидерландов, представлявшее интересы Израиля в Советском Союзе (дипломатических отношений с Израилем тогда не было). Наконец, в 1981 году пришел в посольство вызов, предназначенный для нашей семьи — Берты, Павлика, меня и Лени. Собрав наконец требуемые документы — справки о рождении, разрешение от Лениной мамы, справку о смерти моего отца из далекого загса в Майкопе (к счастью, свидетельство о смерти моей бабушки Гутты в печах Освенцима власти не потребовали) и т. д., мы подали документы на выезд.

Однажды летом 1982 года, вернувшись домой, мы застали маму в полной панике: «Мы с Павликом едва не сгорели! Квартира нашего соседа (сосед был алкоголиком) загорелась! Пламя полыхало в коридоре, я схватила Павлика на руки, выскочила на балкон и кричала: «Люди добрые, помогите, горим!» К счастью, пожар потушили. Да, кстати, там нам по почте из ОВИРа отказ пришел». Текст отказа был приблизительно такой: «Уважаемый Леонид Григорьевич, в связи с отсутствием мотивов для выезда вам и вашей семье в разрешении на выезд отказано». Так мы получили отказ, который впоследствии был назван в народе «музыкальным» (поскольку обоснован он был «отсутствием мотивов»), и стали отказниками.

Это перевернуло всю нашу жизнь. Мы застряли в Советском Союзе, выпав из рамок советского общества. Жизнь не оставляла нам выхода, надо было бороться. Как-то в разговоре с нашим приятелемлевой Тукачинским, обсуждая сложившуюся ситуацию, Леня бросил: «Да еще и теща у меня в Освенциме была, теперь от страха с ума сходит». «Слушай, — предложил Лева, — у меня тут есть знакомый корреспондент из газеты «Нью-Йорк Таймс», Джон Бернс, давай его с Бертой познакомим, может, заинтересуется?» Джон пришел к нам домой, и к нашему удивлению Берта стала рассказывать о своей судьбе, дав разрешение на публикацию.

В сентябре 1982 года Джон позвонил мне: «Алла, 20 сентября в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья о вашей семье. Встретимся у Большого театра, я передам вам газету». В назначенный час я пошла к месту встречи. Джона нигде не было. Побродив между колоннами Большого театра, я вдруг почувствовала, что за мной наблюдают. Чувство было незнакомое. Впоследствии я стала ощущать слежку за собой, даже не замечая преследователей. Освободиться от этого получилось не сразу — уже в Израиле, заходя в автобус, я по привычке окидывала взглядом сидящих: нет ли среди них представителей спецслужб. В тот день Джон так и не появился. Ночью раздался осторожный стук в дверь нашей квартиры. Мама не спала и, открыв дверь, увидела перепуганного Джона с газетой в руках: «За мной по пятам шли гэбешники, я не мог оторваться». Вскоре его выслали из страны. Статья называлась «Жертва нацистов говорит русским: Израиль — мой дом». В центре статьи фотография: Берта, я, Леня и трехлетний Пашка.

С нашими детьми — а в Москве сложился большой круг таких же как мы отказников, — возникла проблема. Отдавать маленьких детей в советские детские сады, с неизбежной антиизраильской пропагандой, нам не хотелось: дома наши дети слышали совсем другие разговоры. Но и оставлять их без общения со сверстниками мы тоже не могли. С середины 70-х годов существовал так называемый еврейский детский сад. Женщины, у которых были маленькие дети, создали детскую группу. Они снимали дачу или квартиру, и дети жили там с понедельника по четверг. Когда я появилась с Павликом в этом детском саду в конце 1982 года, это была большая съемная квартира у метро «Ботанический сад», где одновременно

находились десять-пятнадцать детей. В большой комнате вдоль стен были закреплены огромные стеллажи, поделенные на секции. Верх и низ стеллажей — шкафы. В середине каждой секции опускались и поднимались доски. Когда доски поднимались, комната превращалась в большую залу для игр. Опущенные же доски становились игральными или обеденными столами, а ночью — кроватями. Идея этой гениальной конструкции принадлежала Жене Цирлину, как, впрочем, и создание первого подобного детского сада. К тому времени они с женой Галей уже уехали из Советского Союза. Как в любом детском саду, детей кормили, мыли, водили на прогулки (занимались этим двое-трое дежурных воспитателей, как правило, из числа родителей), — и при этом с детьми много занимались. Среди отказников были специалисты любого профиля. Детей учили ивриту, математике, английскому, рисованию, истории государства Израиль, основам религии. Большая часть отказников считала, что иудаизм — интегральная часть сионизма, и детям необходимо знать хотя бы его основы. Мы, родители, постоянно вели споры о степени религиозности, которая уместна в воспитании. Где грань, за которой начинается религиозный фанатизм? Наши друзья в большинстве своем старались не переступать эту грань. Стены комнаты были увешаны детскими рисунками на темы различных праздников (излюбленным был Пурим*, с принцессой Эстер и злодеем Аманом), изображениями Иерусалима, семисвечников**

* Пурим (букв. «жребий») — праздник, отмечаемый 14 адара (обычно выпадает на вторую половину февраля или первую половину марта) в память об избавлении евреев Персидской империи от угрозы всеобщего истребления, согласно книге «Эсфирь». Пурим — веселый праздник, во время которого принято пить много вина, устраивать карнавал, разыгрывать пуримшпили (ид. «пуримское представление»).

** Семисвечник — ханукия (ивр. «хануккальный светильник»), светильник, который зажигают в праздник Ханука. Зажигание ханукии — главный обряд праздника. Ханука символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света — над окружающей тьмой. Празднование Хануки было установлено после того, как в ходе восстания Хасмонеев против эллинистического господства (167 до н. э. — 142 до н. э.) еврейские войска под командованием Иехуды Макковей в декабре 164 до н. э. освободили Иерусалим и очистили Храм от языческого культа.

магендавидов*. Дети понимали, что рано или поздно они уедут в Израиль и что им надо многое знать о стране, в которой они будут жить.

Приходилось соблюдать конспирацию. Мы старались не обсуждать по телефону текущие детсадовские дела — ни встречи, ни расписание. Детей тоже приходилось учить основам конспирации — с незнакомыми и сверстниками об Израиле, иврите, детском саде не говорить. Дети старались всюю. Получалось плохо. Например, едут в электричке двое пятилеток в сопровождении кого-то из старших. «Куда едете?» — спрашивает добродушный сосед напротив. «На урок иврита», — отвечают. «Иврита?! Да такого языка в Советском Союзе нет», — поражается сосед. «Правильно, — кивают малолетки, — родители предупреждали нас, что говорить об этом с незнакомыми опасно, поэтому мы не скажем, в каком месте будет урок». Другая история: мы с Павликом — ему уже пять лет — в Ленинграде. Леню пригласили прочитать лекцию на тему «Погромы и самооборона в России в начале XX века». Пригласил нас Михаил Бейзер, руководитель исторического семинара; у него на квартире эта лекция и состоялась. После лекции наш ленинградский друг Яша Городецкий повел нас в ресторан гостиницы «Прибалтийская». Администратор гостиницы, его близкая знакомая, Павликом сразу заинтересовалась, ребенок он был бойкий и смысленный. «Пойдем, покажу тебе гостиницу», — сказала она и увела его.

«Слушай, Пашка-то ваш ничего не скажет?» «Да нет, — успокаиваем встревоженного Городецкого, — он опытный, знает, что можно говорить, а что нельзя». Через полчаса прибегает Пашка, довольный, глаза горят! «Тетя такая хорошая, я ей рассказал, что мы летом уезжаем в Израиль». Мы замерли. Почувствовав, что сказал что-то

* Магендавид (ивр. «Щит Давида») — шестиконечная звезда (гексаграмма), образованная двумя равносторонними треугольниками с общим центром, ориентированными противоположно друг другу. В эпоху Второго храма гексаграмма была широко распространена среди евреев и неевреев. В качестве универсального еврейского символа магендавид появляется в 1354 г., когда император Карл IV даровал еврейской общине Праги привилегию иметь собственный флаг. Магендавид был принят в качестве символа зарождающегося сионистского движения. Государство Израиль поместило магендавид на национальном флаге.

не так, он прибавил: «Но я не сказал, что папа историк, а то подумает еще, откуда-то, интересно, в Ленинграде историк взялся».

Впоследствии, уже перед самым отъездом из СССР, мне пришла в голову идея составить книгу изречений и курьезов наших отказных детей. Все мои знакомые с энтузиазмом вспоминали и записывали, кто что сказал. Нам казалось, что неестественность и парадоксальность нашей жизни в отказе, увиденная детскими глазами и выраженная детским языком, поможет как-то привлечь к нам внимание Запада. Книгу на английском языке под названием «Дети в отказе» выпустила в Израиле в 1985 году организация «Центр информации о советских евреях», правда, мое имя там упомянуто не было — забыли, наверное.

В квартиру, где располагался детский сад, гэбэшники нагрянули зимой 1982 года. На глазах у перепуганных детей они срывали со стен рисунки и фотографии, переписывали присутствующих взрослых. Потом еще пару часов оставались в квартире, наблюдая за происходящим. Дети молча, без обычного баловства и капризов поели и дождались, когда уйдут «плохие дяди». Квартиру пришлось оставить.

После нескольких безуспешных попыток найти подходящее помещение в ноябре 1982 года семья Юзевых, руководившая нашим садом, сняла дачу в Малаховке недалеко от Москвы. Дача была зимняя, теплая, просторная, с большим плодовым садом. Утром выходишь — прозрачный свежий воздух, снег белый, тишина. В доме было тепло и уютно. Жизнь казалась сказкой.

Очередной разгром детского сада произошел зимой 1983 года. Гэбэшники на трех черных машинах приехали ранним утром. Дачу взяли штурмом — перелезли через забор. В доме вместе с детьми была только одна воспитательница, вторая опаздывала. Она абсолютно не была готова к такой встрече и страшно перепугалась. И когда ей задали вопрос: «Вот вы тут одна с детьми, а вдруг что-то случится, ребенок заболит, как вы себя поведете?» — она показала им записную книжку со всеми нашими фамилиями, адресами и телефонами. Опять повторилась сцена обыска: швыряли на пол книги, срывали со стен рисунки, рылись в детских вещах. Но на этот раз устроили еще и допрос. Детей выстроили вдоль стены. Мой сын был самый маленький и по росту и по возрасту, ему со-

всем недавно исполнилось три года. «Как твое имя», — спросил гэбэшник Павлика, когда до него дошла очередь. «Паша». — «Как зовут папу?» — «Паша». — «Как зовут маму?» — «Паша». — «Где работают родители?» — «Паша».

От испуга мой сын не мог произнести ничего, кроме своего имени. Одна из воспитательниц, Оля Йоффе, вспоминала: «Дети были страшно напуганы. Когда мы пришли их забирать, моя Динка лежала лицом к стенке и не реагировала на вопросы, она была просто в шоковом состоянии». Единственные соседи, которые попытались вмешаться, были священник местной церкви и его жена. «Что вам сделали эти дети?» — обратились они к людям в штатском. «Не лезьте не в свое дело. Хотите неприятностей, мы их вам устроим!» Соседи ретировались. К вечеру мы всех детей развезли по домам.

Берта не могла понять, чем занята ее дочь. «Я мам бардзо интеллигентную цурэчку (у меня очень умная дочь)», — часто говорила она, мешая польские и русские слова. Всю жизнь она мечтала, что я стану ученым. К науке, к ученым Берта относилась с трепетом. Было это поветрием времени или тайной мечтой ее жизни, которую она хотела воплотить во мне, не знаю. Но карьера ученой у ее «цурэчки» явно не складывалась. В аспирантуру меня не приняли из-за «пятого пункта», да и занималась я, будучи в отказе, вовсе не научной карьерой. «Как тебе не стыдно! — возмущалась Берта, произнося вместо «стыдно» — «встыдно», — какой чепухой ты занимаешься! Я в твои годы уже сидела в Освенциме!»

Возможность поступления в аспирантуру возникла неожиданно. К Лене на работу (в техникум) пришел офицер КГБ. Засыпав перепуганную директоршу вопросами о сотруднике Леониде Прайсмане, он вдруг поинтересовался: «А жена у него Шаховская, — может, русская?» Через несколько дней мне позвонили из Тимирязевской академии. «Куда же вы исчезли, Алла? — голос заведующего кафедрой фитопатологии звучал ласково, с легкой укоризной. — Вы одна из наших самых способных учеников. Вы приняты в аспирантуру. Вас ждет место в институте, уже известны тема диссертации и научный руководитель». Понимая, что этот звонок спровоцирован КГБ, я ничего не могла с собой поделать: время стремительно разворачивалось в другую сторону — нет отказа, нет отъезда, есть возможность заниматься наукой! Берта

рвала и метала. «Ты погубил мою талантливую дочь», — набрасывалась она на Леню чуть ли не с кулаками. Объяснить ей, что это гэбэшная провокация, было невозможно. Леня боялся приходить домой — Берта встречала его испепеляющим взглядом. «Молодцы, достали, отравили жизнь», — поливал он последними словами гэбешников.

Леня стал заниматься историей евреев. Тема была запретная, сведения — скудные. Было решено создать исторический семинар, который возглавили Л. Прайсман и М. Членов*. Семинар проходил на нашей квартире.

В один из вечеров в разгар лекции раздался звонок в дверь. Нарушая все инструкции — посмотреть в глазок, дверь незнакомым не открывать, — я настежь распахнула дверь. За дверью стояли милиционеры и дружинники. «Войти можно?» — «Подождите, сейчас спрошу», — я побежала в набитую (собралось больше пятидесяти человек) комнату. Леня прервал лекцию. «Там», — сказала я растерянно, за моей спиной уже сгрудились непрошенные гости.

Через несколько дней мне стали сообщать удивленные соседи, что наш участковый милиционер ходил по квартирам и спрашивал, не известно ли им о наличии у нас дома огнестрельного оружия.

После этого было решено читать лекции на разных квартирах. Вот как вспоминает об этом Леня:

* Членов Михаил Анатольевич (р. 1940) — российский ученый и общественный деятель. В 1985 г. закончил Институт восточных языков при МГУ. Занимался этнографическими исследованиями в Индонезии, изучал этносоциальные процессы у народов Севера РСФСР: эскимосов, чукчей, ненцев. Участник этнографических экспедиций в районы Средней Азии и Закавказья. Кандидат исторических наук. С 1971 г. — участник еврейского национального движения. Преподаватель иврита. В 1976 г. принимал активное участие в подготовке независимого семинара «Еврейская культура в СССР: состояние и перспективы». Один из руководителей неформального еврейского исторического семинара в Москве. В 1989 г. на 1-м съезде евреев СССР в Москве был избран сопредседателем Совета Конфедераций еврейских организаций и общин — ВААД, в 1992 г. избран президентом Федерации еврейских организаций и общин. С 1991 г. — президент Евроазиатского еврейского конгресса. Автор двух монографий и около 150 научных статей по проблемам этнографии, лингвистики, социологии и смежных дисциплин.

«Место было найдено, и в октябрьский день 1983 года на квартире зубного врача Володи, которая находилась где-то за Савеловском вокзалом, я начал лекцию «Погромы и еврейская самооборона в России в конце XIX — начале XX века». Но после первых моих слов раздался громкий стук в дверь. Я прервал лекцию и сказал: «От антисемитизма начала двадцатого века мы переходим к антисемитизму конца двадцатого». Хозяин квартиры пошел открывать дверь. Он услышал голос своего двоюродного брата: «Володя, открой». Он открыл дверь — и увидел брата в окружении целой толпы милиционеров, гэбэшников и дружинников, вломившихся в квартиру. Со слезами в голосе брат прокричал: «Володя, прости! Я не хотел, меня заставили!» У нас у всех они проверили документы и сказали, что мы должны пройти с ними. Когда мы выходили из дома, нас ждало совершенно невероятное зрелище: весь дом был окружен цепью солдат внутренних войск, милиционеров и дружинников. Я был изумлен. Может быть, исходя из темы лекции, они предполагали, что встретят активное сопротивление? Нас посадили в машины и повезли в опорный пункт охраны общественного порядка, находящийся в однокомнатной квартире. Нас — пятнадцать человек — загнали на маленькую кухню. Можно только удивляться, как мы там все разместились.

Особые меры предосторожности соседствовали с обычным российским головопятием (как хорошо, что даже советским спецслужбам был присущ этот недостаток). На кухне за нами никто не наблюдал. Двое из ребят смогли выпрыгнуть в окно, благо квартира была на первом этаже. Допрос шел в комнате, куда вызывали по одному. Ребят запугивали исключением из вуза, неприятностями родителям».

Мы судорожно искали выход. Выезд из СССР был практически прекращен. Леня, которому из-за слишком пристального внимания органов КГБ пришлось уйти из техникума, устроился вахтером в дом Союза писателей у метро «Аэропорт». На дверях одной из квартир висела табличка с зачеркнутым именем Евгении Гинзбург — матери Василия Аксенова, поверх было написано имя самого Аксенова, который к тому времени уже жил на Западе, дальше шли имена Мариэтты Шагинян, Владимира Солоухина. Как-то вальяжный Солоухин решил стрельнуть у Лени пять

рублей на такси. Таких больших денег у Лени не оказалось. «А как же вы из дома выходите без пяти рублей в кармане?» — удивленно спросил спустившийся с небес Солоухин.

Затем Леня работал ночным сторожем в гараже кооператива Союза советских художников. Крошечную каморку при гараже посещали наши друзья — отказники. Периодически торчали у гаража топтуны из КГБ. Леня узнал об этом неожиданно. Как-то его каморку пыталась найти известная диссидентка Ася Лащивер*. Подойдя к молодому человеку, она спросила его, где находится гараж художников. «Ася Давыдовна, — ответил молодой человек, — ваш друг Леонид Григорьевич Прайсман вон там, в доме за углом».

Каждое утро, когда Леня должен был вернуться с ночного дежурства, я тревожно прислушивалась к звукам на лестнице и успокаивалась, только услышав знакомые шаги. Мама жила в бесконечном страхе. Помешать нам она не могла, остановить — тоже. Я помню: поздний зимний вечер, почти ночь. Городской транспорт уже не ходит. Где Леня — не знаю. Мы с мамой с тревогой прислушиваемся к ночной тишине. «Ты знаешь, мама, я очень беспокоюсь, где он?» И вдруг мама взрывается. «Доигрались! — кричит она шепотом, чтобы не разбудить внука. — Вы что же думаете, что с такой чудовищной силой, как КГБ, можете в игрушки играть? Его загнали в подъезд и проломил голову. Он лежит где-то там, в темном подъезде, с проломленной головой. С КГБ не воюют!» С этими словами она начинает кружиться за мной по комнате. «Мама, прекрати!» — умоляю я, пытаюсь спрятаться от ее почти безумных глаз, от страшных слов, произносимых громким, звенящим в тишине голосом. Весь ее ужас, весь страх, все ее желание остановить свою утратившую чувство реальности дочь вложены

* Лащивер Ася Абрамовна (1940–2009) — активистка правозащитного движения. В 1965 г. закончила Московский технологический институт мясомолочной промышленности. С 1978 г. участвовала в правозащитной деятельности. Принимала участие в выпуске самиздатовского «Бюллетеня В», информирующего о нарушениях прав человека в СССР, в работе Солженицынского фонда помощи политзаключенным. С 1983 г. — член группы «Доверие». В 1989–93 гг. входила в редколлегия журнала «Гласность», была председателем Московской группы «Амнистии интернешинал». С 2003 г. жила в Израиле.

были в эти слова. Я не выдерживаю: едва накинув пальто, выбегаю из дома — искать тот подъезд, в котором с проломленной головой лежит мой муж. На улице тишина, ни души, только белые сугробы и звездное небо. И вдруг из-за сугробов появляется Леня. «Ты что здесь делаешь?» — удивленно говорит он. Я от счастья, что вот он, живой, здоровый, не могу произнести ни слова. «Я поздно освободился, метро уже не работало, денег на такси не было, вот и пришлось добираться на попутках и пешком».

1984 год. Безвременье. Во главе страны, придя на смену умершему 9 февраля Ю. Андропову, встал старый, больной К. Черненко. Мы в отказе. Надежд нет. После прихода к власти Андропова в ноябре 1982 года резко ужесточилась и без того жестокая борьба с любыми проявлениями инакомыслия. Эта политика продолжалась и при Черненко. Процессы над еврейскими активистами в разных городах Советского Союза шли один за другим. Но для нашей семьи это был своеобразный период «бури и натиска». Мы все активнее участвовали в еврейском движении. Одним из способов нашей борьбы стала передача информации о преследованиях отказников на Запад — своеобразное преддверие гласности.

«Алка, что происходит, что делает Леня? Зачем он губит Щаранского?» — обрушилась на меня встревоженная Берта. «Мама, успокойся, что случилось?» — поразила я ее вопросам. «Мне позвонил известный отказник, я забыла его имя, и сказал, что из-за вашей слишком активной деятельности нам всем будет очень плохо, а главное, он погубит Анатолия Щаранского». С тех пор наши друзья подтрунивали над моим мужем: «Леня, не губи Толю».

Как-то Леня сказал: «Алка, ты же свободно владеешь английским. Будешь нашей связной». Моя задача сводилась к передаче информации об арестах, преследованиях учителей иврита, разгромах семинаров и тому подобных событиях представителям американских еврейских организаций по телефону. Мне очень не хотелось этого делать, но раз надо, значит, надо. Вскоре у нас дома раздался телефонный звонок из Америки. «В Киеве был арестован...» — бодро доложила я. Разговор прервался.

Следующие переговоры пришлось вести из районного переговорного пункта. Разговор с Америкой, а именно с Памелой Коэн — руководителем организации Chicago action for Soviet Jewry («Чикаг-

ская инициатива в защиту советских евреев»), — должен был состояться в семь часов вечера. Поскольку гэбэшники могли арестовать меня или устроить провокацию, на такие телефонные разговоры не ходили в одиночку. Знакомая, которая должна была сопровождать меня, не пришла. Времени не оставалось. Без двадцати семь я позвонила домой: «Леня, я иду на переговорный пункт одна, прикрой меня», — и помчалась на почту. В ожидании разговора я сидела и зазубривала переданные мне факты о преследовании отказников (не только в Москве, но и по всему Союзу) — кого и когда арестовали, на какую квартиру был устроен налет КГБ и т. д. Выучить следовало наизусть и проговорить без запинки — разговор могли прервать в любой момент. Вокруг происходило что-то странное, крутились какие-то люди. Я отметала от себя подозрения — нет времени для паранойи. Вот как вспоминает об этом Леня:

«Я бросил трубку и побежал одевать Пашку. Мне нужно было лететь к Алке, а оставить ребенка было не с кем. Переговорный пункт находился за Савеловским вокзалом, довольно далеко от нашего дома. Я быстро поймал такси и в семь часов мы с Пашкой были там, благо пробок тогда в Москве не было. Когда мы вошли в переговорный пункт, там было полно гэбэшников. Некоторых из них я знал в лицо. Они были из еврейского отдела 5-го управления КГБ и часто следили за нами. На лицах гэбэшников, особенно главного среди них, было написано удивление. Они не знали, что делать. Приказа арестовывать пятилетнего ребенка у них не было. Главный подал знак — и через секунду кроме него никого не осталось. Он подошел к телефонистке, показал ей какую-то бумажку, — видимо, свое удостоверение, — и что-то сказал. Вскоре его вызвали в телефонную кабинку и он громко прокричал какой-то бред — о том, что он художник и выполняет какой-то заказ».

Меня вызвали к телефону. «Пэм, — скороговоркой проговорила я, — на почте гэбешники, меня могут забрать, слушай внимательно», — и быстро проговорила выученный наизусть текст.

Вскоре нам домой позвонили. «Слушай, ты, сука, — услышал Леня незнакомый голос в трубке, — перестань вякать много за границу и б... своей скажи, чтобы заткнулась». Реакция была мгновенной: «А пошел ты на х...», — заорал мой муж и бросил трубку. Вскоре нам отключили телефон. Мы обратились в Московскую

телефонную станцию и получили ответ, что в связи с использованием телефона в антисоветских целях телефон отключен. Телефон у нас появился снова только осенью 1986 года, когда мы купили нашу первую квартиру в Израиле.

Однажды Берта упала и сломала руку. Мы повели ее в находившуюся рядом больницу — знаменитый на всю Москву Институт скорой помощи им. Склифосовского. Ортопед поставил диагноз: перелом, сложный, со смещением, кость надо ставить на место. Он завел Берту в кабинет, положил ее на кушетку и вставил сломанную руку в какой-то прибор, напоминающий небольшой подъемный кран. Ортопед нажал на рычаг, рука дернулась и кость стала на место. Берта не издала ни звука. Изумлению ортопеда не было границ. «Обычно все кричат от боли, — произнес он с удивлением и даже с легким разочарованием в голосе, — вы даже не застонали, это впервые в моей практике». «Я прошла Освенцим, — спокойно ответила Берта, — боль, которую я испытала сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что я перенесла».

В ноябре Леня заболел бронхитом. Я бросилась его лечить — делать ингаляцию. Вскипятив трехлитровую кастрюлю с водой, я добавила в кипяток подсолнечного масла для жара. Усадила Леню за кухонный стол, поставила перед ним кастрюлю. Леня наклонил над кастрюлей голову, и я накрыла его вместе с кастрюлей полотенцем — пусть дышит целебным паром. Леня стал задыхаться и, пытаясь высвободиться, задел кастрюлю. Кипяток, сдобренный подсолнечным маслом, рухнул ему на причинное место. От боли Леня чуть не потерял сознание, я же в ужасе металась по квартире, не зная, что предпринять. «Спиртом надо промыть», — советовал не вовремя появившийся в квартире наш приятель Мишка.

Мы вновь отправились в институт им. Склифосовского. Леня шел, подняв вверх обваренные ладони и широко расставив ноги, я, рыдая, плелась за ним. Народ, праздновавший очередную годовщину Октябрьской революции, на странную пару внимания не обращал.

«Что случилось?» — спросили нас в приемном покое. «Мой муж заболел бронхитом, — всхлипывая, начала объяснять я. — Я стала делать ему ингаляцию, кастрюля опрокинулась, и кипяток обварил Лене яйца». Раздался гомерический хохот медперсонала.

«Я сделаю на тебе диссертацию, — говорил наш приятель, врач Володя Бродский, — еще никто в мире не знал, что осложнением после бронхита являются обваренные яйца».

Новость стремительно облетела наших друзей и знакомых. Через пару дней Берта отправилась на Горку. Горкой назывался участок улицы Архипова, прилегающий к Большой Московской синагоге. Улица спускалась круто вниз и действительно напоминала детскую горку. Там собирались в те годы многие московские евреи. Оживленно делились новостями — кто уехал, у кого был обыск, кого посадили. Молодежь знакомилась, старики обменивались мнениями, встречались, общались — жизнь кипела.

Когда появилась Берта, к ней выстроилась очередь. «Что произошло с Леней?» — участливо спрашивали ее. Польщенная таким вниманием, Берта отвечала: «Алла обварила Лене яйца, бедная Алла!» Услышав ответ, человек от хохота сгибался пополам и отходил в сторону. Его место занимал следующий: «Что произошло с Леней?» Сцена повторялась. Аресты и обыски на время были забыты.

Постоянное желание вырваться из западни, в которой мы оказались, заставляло нас искать нетривиальные пути для достижения нашей цели — отъезда в Израиль. Так возникло движение израильских граждан. Идея была проста (автором ее был узник Сиона Борис Чернобыльский*). Мы рвемся уехать в Израиль, а нам не позволяют это сделать советские власти; поэтому мы решаем жить в Советском Союзе как израильские граждане, которых насильственно удерживают за границей. Мы отправили в Верховный совет заявления, где отказывались от советского граждан-

* Чернобыльский Борис Моисеевич (1944–1998) — активист еврейского движения в Советском Союзе. Узник Сиона. В 1967 окончил Московский авиационно-технологический институт. Подал документы на выезд в Израиль. В январе 1976 г. семья Чернобыльского получила отказ по соображениям секретности. Участвовал в демонстрациях еврейских отказников. Неоднократно арестовывался и приговаривался к пятнадцатисуточному заключению. В 1981 г. арестован по сфабрикованному обвинению и приговорен к одному году заключения в исправительно-трудовой колонии. В ноябре 1982 г. освобожден. Один из создателей и руководителей движения за получение отказниками израильского гражданства. С 1989 г. жил в Израиле.

ства, и попросили власти Государства Израиль предоставить нам израильское гражданство. Мы требовали, чтобы советские власти не препятствовали открытию при посольстве Нидерландов, представлявшем в СССР интересы Израиля, культурного центра для израильских граждан, израильской школы и детского сада для наших детей.

Летом 1985 года в Москве должен был проходить Фестиваль молодежи и студентов. Мы хотели в нем участвовать в составе израильской делегации. Мы писали по этому поводу в Верховный совет, устраивали пресс-конференции с иностранными журналистами. В движении принимали участие сотни семей — в основном из Москвы и Ленинграда, но иногда и из других городов СССР.

Возглавляли это движение Боря Чернобыльский, Леонид Юзефович и мой муж Леонид Прайсман. Израильское правительство выдало нам сертификаты, подтверждающие наше израильское гражданство. Был выписан сертификат и на мамино имя. Вот как вспоминает Леня об одном из эпизодов этой борьбы за выезд:

«В апреле 1985 года меня неожиданно пригласили во Всесоюзный ОВИР. Со мной должен был беседовать глава Всесоюзного ОВИРа полковник Кузнецов. Пока мы с Аллой сидели в приемной, в кабинет Кузнецова вошли двое в штатском. У меня не было ни малейшего сомнения, что они из КГБ. Кузнецов вышел из кабинета и пригласил меня зайти. Алла сказала, что она пойдет со мной. Кузнецов ответил, что войду только я, но посмотрев на Аллу, предпочел не связываться и пригласил нас зайти».

Я хорошо помню этот момент. Кузнецов открыл дверь кабинета и пропустил Леню. «Вы подождите в приемной», — сказал он мне и попытался закрыть дверь. Я стояла напротив него — это был высокий худой человек с холодными серыми глазами чиновника. Ужас охватил меня. Сейчас моего мужа уведут в кабинет, за ним захлопнется дверь, и я больше никогда его не увижу! неподвижные серые глаза с коричневыми и красными прожилками смотрели на меня. «Если этот человек попробует закрыть передо мной дверь, я эти глаза выну», — пронеслось у меня в голове. Так мы несколько минут стояли и молча, не мигая, смотрели друг другу в глаза. Вдруг в лице Кузнецова что-то дрогнуло. «Проходите», — сказал он и пропустил меня в кабинет.

Леня продолжает:

«Мы зашли в просторный кабинет, Кузнецов сидел за столом. Где-то в конце кабинета сидели гэбэшники.

Я: Кто эти люди?

К.: Наши сотрудники.

Мы сели.

К.: Я говорю с вами от имени Верховного совета СССР, куда поступило несколько обращений от групп советских граждан еврейской национальности с заявлениями об отказе от советского гражданства, так как они считают себя израильскими гражданами. Ваши обращения не могут быть удовлетворены, так как вы советские граждане и ничего общего с Израилем не имеете. Двойное гражданство Советский Союз не признает.

Я: Мы евреи и хотим жить в Израиле. Вы нас туда не пускаете, поэтому мы будем настаивать на своем праве, считать себя израильянами, насильно удерживаемыми на территории иностранного государства.

К.: Об этом не может быть и речи. Никакого отъезда на основании принципа репатриации быть не может. Репатриация возможна только в случае, когда люди родились в стране, куда они репатрируются, или когда есть двустороннее соглашение.

Я: Все советские газеты полны сообщениями о возвращении из Турции русских казаков, принадлежащих к так называемой секте некрасовцев. Их предки в 1707–08 годах принимали участие в восстании Кондратия Булавина, а после поражения восстания несколько отрядов казаков во главе с атаманом Некрасовым ушли в Турцию. С тех пор они и их потомки жили в Турции и во всех войнах, которые в XVIII—XIX веках вели Россия и Турция, сражались против русских, считаясь лучшими солдатами турецкой армии, а мы никогда не делали ничего плохого Израилю.

К.: Ваши сертификаты о гражданстве являются для нас пустыми бумажками. И я советую вам и вашим друзьям разорвать их и выбросить в мусорный ящик. Все отказы совершенно обоснованны и не противоречат Мадридскому и Хельсинскому соглашениям, так как свободный обмен людьми не должен нарушать безопасность государства.

Я: Существует около 400 тысяч евреев, желающих выехать, но советские власти их не выпускают, это хорошо известно международным организациям. Советский Союз извращает дух и букву Мадридского и Хельсинского соглашений о безопасности и сотрудничестве в Европе. Страны, их подписавшие, не могли и предположить, что советские власти будут буквально душить евреев, ссылаясь на эти соглашения.

К. (поспешно и испугано): Я ничего не извращаю. На этом наш разговор окончен. Но скажите мне, Леонид Григорьевич, вы все время говорите такие красивые фразы о репатриации, о гражданстве, а вот вы и ваша семья уезжаете по израильскому вызову к какой-то мифической тетушке, а оставляете в Советском Союзе родную мать. Как это выглядит с точки зрения морали?

Я(повышая голос): Ни в одной нормальной стране подобной проблемы не было бы. С представителем режима, загубившего десятки миллионов своих граждан, я отказываюсь говорить на тему морали. Вы мне создали страшную проблему, я вынужден расстаться с мамой, и не вам мне об этом говорить!»

Разговор был окончен. Мы вышли из кабинета. На всем протяжении разговора я делала вид, что записываю все произнесенное присутствующими, но на самом деле от напряжения рука меня не слушалась, строчки скакали перед глазами. Наблюдавшие за этим разговором люди в штатском были сотрудниками КГБ довольно высокого ранга. Они составляли наш психологический портрет и решали, что с нами делать: отпустить нас в Израиль или посадить Леню? Видимо, они решили, что если Леню посадят, то мои действия и его поведение в тюрьме вызовут излишний шум на Западе; кроме того, к власти пришел М. С. Горбачев, и в воздухе чувствовались первые признаки перемен.

Вернувшись однажды домой, по встревоженному и в тоже время виноватому лицу Берты я поняла: что-то случилось.

«Мне пришлось подписать вот это», — мама протянула мне уведомление из военкомата. Лене предписывалось прибыть через несколько дней в районный военкомат. Поскольку из-за зрения он был годен к нестроевой лишь в военное время, вызов в военкомат мог означать что угодно — встречу с КГБ, допрос или даже арест. Маму я успокоила и стала думать, как исправить положение. По-

являться в военкомате Лене было нельзя. Повязав на голову козынку, я с повесткой отправилась в приемную военкомата. В окне сидела молодая секретарша. «Муж где?» «Нет у него, — зашмыгала я носом, — на Украину подался, урожай собирать». «Ну так адрес давай», — холодно проговорила секретарша. И тут я разрыдалась. «Баба у него там, адрес не дал, сказал, к осени вернется, — крупные слезы текли по моему лицу. — Ты ж тоже женщина, должна понять». В глазах секретарши зажглось сострадание. «Валька, — обратилась она к сидевшей в комнате сотруднице, — слышь, и у них тоже, как у нас». Валька сочувственно покачала головой. «Ладно, повестку спрячу, пусть в сентябре приходит, как вернется».

В июле мы получили разрешение на выезд.

Мысли об аресте постоянно преследовали меня и моих друзей и знакомых. Арестовывали в основном мужчин, на долю жен или родителей выпадали связь с органами юстиции, свидания с узником. Только им по законам СССР разрешались эти действия, только они имели право беседовать со следователями и передавать посылки в тюрьму. Надо было еще думать, как привлечь внимание международной общественности. Формула — чем больше шума, тем больше гарантий, что не сгноят, не убьют в тюрьме — действовала безотказно. И вот Таня Эдельштейн начинает сорокадневную голодовку в знак протеста против ареста ее мужа; Таня Заушайн выходит на демонстрацию — и ее бросают в тюрьму на пятнадцать суток. Но сообщения об их мужьях появляются в западной прессе. Я тоже думала о том, что буду делать в случае ареста Лени. Я решила использовать свою семейную историю — судьбу своей мамы. Везде, во всех компаниях, по всем прослушивающимся телефонам и квартирам я говорила об одном: если моего мужа арестуют, я в ту же минуту надену полосатый костюм узника немецких концлагерей, выйду на Красную площадь и разверну плакат «Освенцим начинается в Советском Союзе!» Это сможет привлечь внимание журналистов. Полосатый костюм и плакат были у меня наготове.

Каждая из нас думала о том, что предпринять. Так родилась идея женского движения — вместе легче решать общие проблемы. Мы слышали, что на Западе существуют многочисленные женские объединения. Мы почти ничего не знали о том, что они из себя представляют и какие ставят перед собой задачи, но мы знали, что

они пользуются существенным влиянием на общественной и политической арене. Впоследствии, уже в Израиле, Юрий Штерн* предложил мне встретиться с одной из активисток феминистского движения. «Мы пытались защитить наши семьи и наших мужей от преследований со стороны властей, мы считали, что наши проблемы будут лучше услышаны и поняты женщинами других стран, мы искали у них защиты», — объясняла я. Активистка была разочарована. Вопросы женского равноправия не волновали в тот момент наше движение. Одним из способов привлечения внимания к проблемам отказников стали письма. Текст писем был простым и, как нам казалось, трогал за душу. Вот одно из этих писем, адресованное Нэнси Рейган. Начиналось оно со слов:

«Дорогая миссис Рейган!

Обращаются к Вам женщины, чьим семьям и им самим отказано в эмиграции в Израиль. Мы восхищаемся Вашей заботой о больных корейских детях, о которой мы прочитали в журнале «Америка». Что может быть достойнее, чем забота о здоровье и счастье детей! К сожалению, наши дети тоже нуждаются в помощи...»

Дальше шло подробное описание проблем детей отказников. Заканчивалось письмо так: «Ирония заключается в том, что все эти проблемы могут быть решены легко и быстро. Мы обращаемся к Вам в надежде, что наши проблемы найдут отклик в Вашем сердце. Нам так важно знать, что в мире существуют люди, готовые нам помочь». Среди других стояли подписи: А. Шаховская и Б. Шаховская. Я в России сохраняла свою девичью фамилию и стала Аллой Прайсман только в Израиле (никто из израильтян не мог выговорить фамилию «Шаховская» до конца). Мама же безропотно подписывала все наши письма.

Первым нашим шагом стало решение собрать пресс-конференцию и с помощью журналистов рассказать международной обществен-

* Штерн Юрий Леонидович (1949–2007) — израильский политический и общественный деятель. В 1971 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук. В 1978–81 гг. — участник еврейского национального движения в СССР. С 1981 г. жил в Израиле. Один из руководителей Сионистского форума и один из создателей партии «Израэль ба-Алия». Депутат Кнессета 14–17 созывов. В 2003–06 гг. был заместителем министра в министерстве главы правительства.

ности, что происходит. Задача была непростой. Журналисты уже писали об арестах отказников, о том, что выезд перекрыт, и эта тема больше не вызывала у них интереса. Встречи с журналистами были тогда делом сложным и опасным, так как власти при желании могли предъявить нам обвинение в передаче информации, порочащей советский государственный строй, на Запад. Да и проходили эти встречи в весьма своеобразной обстановке. Я помню, как я договаривалась об интервью с одним из журналистов агентства Франс Пресс для Фани Бернштейн, которая приехала в Москву с Украины после ареста ее мужа Иосифа. Мы условились по телефону о встрече с журналистом недалеко от нашего дома. Я взяла с собой своего четырехлетнего сына, и мы с Фаней пошли на Цветной бульвар к месту встречи. Народу почти не было — был уже вечер, на условленном месте стояли две машины с номерами КГБ с открытыми дверцами, возле них стояли мужчины (по выправке видно, что гэбэшники), а группа дружинников прогуливалась по тротуару. Они направились было к нам, но мы, не останавливаясь, пошли в ту сторону, откуда должен был прийти французский корреспондент. Дружинники за нами не пошли: то ли их остановило присутствие ребенка, то ли они изначально предполагали только напугать нас. Мы встретили журналиста, направлявшегося к условленному месту, объяснили обстановку, и Фаня рассказала о муже.

Пытаясь организовать пресс-конференцию, мы говорили журналистам: «Подождите, не отказывайтесь, вы писали о мужчинах, а это будет о женщинах и детях», — и они соглашались. Пресс-конференция состоялась на квартире Зои Копельман, на окраине Москвы; участвовали в ней в основном жены узников Сиона. Мы собрались в квартире Зои за час до начала. Журналисты еще не прибыли, и мы беспокоились, придут ли они. Но вот одна из нас выглянула в окно и внизу (квартира была на девятом этаже) увидела знакомые машины КГБ, сотрудников, одетых в гражданскую одежду — в одинаковые серые пальто и меховые серо-коричневые шапки. Дом был практически окружен! Нам стало весело. Мы ощутили себя зрителями детективного фильма и собрались у окон, наблюдая, как гебешники ходят вокруг дома и переговариваются, как подъезжают их машины. Вот подъехала и остановилась у подъезда знаменитая машина скорой помощи. Это была на-

стоящая машина скорой помощи — с красным крестом на боку и сиреной на крыше, только вместо медицинской аппаратуры в ней находилась прослушивающая, а вместо врачей — сотрудники КГБ. И вдруг Зоя расплакалась. Ее дочери должны были возвращаться домой из школы, и она испугалась, что их задержат. Нам стало не по себе; мы почувствовали себя не зрителями, но невольными участниками этого спектакля. Наконец, на наше счастье, подъехали две огромные машины с иностранными номерами, из них вылезли корреспонденты с фото- и кинокамерами и направились к нам. Мы вздохнули спокойно — нам пока не мешают. Первое, что мы сделали, едва журналисты вошли в квартиру, — показали им, что творится вокруг дома, и с удовольствием наблюдали их растерянные лица.

И вот власти решили нас отпустить.

Вскоре нам позвонила дама из Московского ОВИРа, по-моему, Аничкова, и сказала, что нас собираются выпустить в Израиль, но так, «чтобы разрешение на ваш выезд не выглядело в глазах вашего слишком многочисленного окружения как награда за вашу слишком активную деятельность». Воодушевленные, мы продолжили нашу борьбу с удвоенной энергией.

В начале июля 1985 года мы получили разрешение на выезд из Советского Союза. Чиновник, выдавая его, предупредил: «Не успеете собраться к указанному сроку — поедете на Дальний Восток вместо Ближнего». Срок у нас был — три дня. Выхода не было, на Дальний Восток никому не хотелось. Нам разрешили взять с собой по 90 долларов и 30 кг багажа на каждого. Нашего приятеля Мишу Шипова на очередном допросе в КГБ предупредили: «И к Прайсману не обращайтесь, ему сейчас не до вас, он мечется по квартире и решает, что надо взять с собой в первую очередь». Это была сущая правда — квартира прослушивалась, и метались по ней все члены семьи. Берта, которой в очередной раз приходилось оставлять родные, привычные вещи, отчаянно билась за каждый оставленный предмет: «Калоши не оставлю!» «Мама, ну зачем в Израиле калоши?» — пыталась урезонить ее я.

Не помогало. Калоши оказывались в чемодане. Пришлось менять тактику, вынимать их из чемодана тайно, без лишнего шума. Мы пытались решать хозяйственные и административные про-

блемы, а тем временем к нам в дом тянулась бесконечная толпа друзей, знакомых и малознакомых людей, некоторые приезжали прощаться из других городов. В последний момент разрабатывались планы наших дальнейших действий, совместной борьбы, уточнялись каналы связи. С кем встретиться, что рассказывать, какой поддержки требовать там, в свободном мире. Просили передать что-то на словах родственникам, друзьям и знакомым. Никаких писем или бумаг брать с собой не разрешалось. На нас всех повлиял закончившийся в эти дни чудовищный процесс Дана Шапиро, где он дал показания, продиктованные ему сотрудниками КГБ. Мы-то уезжаем, а что будет с нашими друзьями? Предчувствие приближающейся свободы смешивалось с болью расставания. Что будет здесь? Что будет там? Физическое и эмоциональное напряжение казалось непереносимым.

В день отъезда, 7 июля 1985 года, последний раз бросив взгляд на нашу московскую квартиру, мы выехали в международный аэропорт Шереметьево. Темный, неуютный зал был забит до отказа. В толпе провожающих мелькали родные лица. Бледное, горестное лицо Лениной мамы — Беллы, всматривавшейся в лица своего единственного сына и внука Пашки, которых, как ей казалось, она больше никогда не увидит. Володя Бродский, стоящий в толпе со слезами на глазах, — в кармане у него уже лежала повестка явиться на следующий день в милицию. Он знал, что его арестуют. Его жене Дине в будущем предстояла тяжелая борьба за его освобождение из советских лагерей. У многих в глазах стояли слезы, и только одна группа провожающих сохраняла спокойствие: весь еврейский отдел 5-го управления КГБ прибыл в аэропорт. Среди толпы и по всему периметру второго яруса в зале для отъезжающих стояли безликие молодые люди и бесстрастно наблюдали за происходящим. В такой своеобразной манере прощалась с нами Советская Россия.

Глава V. Наша жизнь в Израиле. Трудности и радости

Промежуточным пунктом была Вена. Прожив в Вене два дня, мы вылетели в Тель-Авив. В самолете, летевшем из Вены в Тель-Авив, каждый из нас был погружен в свои мысли. Пятилетний Пашка грустил, что уезжает от бабушки Беллы, а еще о том, что раз он еврей, то ему нельзя есть его любимую колбаску. Я чувствовала облегчение (страхи и опасности остаются позади), смешанное с грустью, — ведь я покидала, как казалось, навсегда, мою любимую Москву, друзей, тетушек. Я улетала на конец света, в маленькую южную страну, расположенную слишком далеко от всего, что я любила и знала. А моего мужа Леню переполняло всепоглощающее счастье. «Сбывается мечта многих лет моей жизни, — думал он, — я лечу на родину. Огромное напряжение последних лет, отчаянная борьба, постоянная угроза ареста — все позади. Я спас свою семью и себя из советского ада, я победил силу, считавшуюся непобедимой». Ему казалось, что все проблемы остались позади. А Берта? Она была спокойна — ведь рядом была ее единственная дочь со своей семьей. И она чувствовала, что навсегда покидает славянские страны.

Мы прилетели в Тель-Авив и после длительной бюрократической волокиты поздним вечером вышли из аэропорта в душную июльскую тель-авивскую ночь. Нас встретили друзья и представители одной из израильских спецслужб, вернее, его отделения под интригующим названием «Отдел по связям с евреями в странах, где им угрожает опасность». Стали засыпать вопросами. Умиравших от усталости и перенесенных волнений, нас привезли в Иерусалим и поселили в квартиру центра абсорбции. Утром я вышла на балкон. Жара стояла невероятная, солнце не грело — оно сжигало, было трудно дышать. «Белый человек тут выжить не может», — подумала я.

Нашими соседями по центру абсорбции оказалась разношерстная публика: давно приехавшие эмигранты из России, по разным причинам задержавшиеся там, выходцы из Сирии, которых трудно было отличить от местных арабов, неизвестно откуда взявшаяся семья из Германии, но самыми колоритными оказались эфиопы. Их одежда, лица, походка — все напоминало кадры из телепереда-

чи «Клуб путешествий». Одному из них моя мама очень приглянулась. Ежедневно дверь в нашу квартиру распахивалась и на пороге возникал высокий седовласый черный человек, одетый в белый балахон жителя африканских саванн, с посохом в руках. Торжественно проходил он в центр комнаты, садился на предложенный ему стул и немигающим взглядом упирался в маму. Все это совершалось в полном молчании, поскольку общего языка у него с мамой не было. Посидев так некоторое время, он вставал и гордой поступью вождя африканского племени удалялся восвояси.

Нас с Леней закрутил вихрь встреч, поездок, людей. На следующий день после приезда мы были приглашены в Кнессет, где в одном из залов на фоне gobеленов Шагала мой муж рассказывал о происходящем в России, о движении израильских граждан, о проблемах, с которыми сталкиваются отказники. Мы очень переживали разлуку с друзьями. Что с ними, как они, чем можно им помочь? Эти вопросы мучили нас постоянно. Меня преследовал сон: я стою на эскалаторе метро, который увозит меня наверх, к выходу, к свету, — а внизу струдились мои друзья, они закидывают головы, протягивают руки, но я не могу пошевелиться, я просто медленно от них отдаляюсь.

В эти же дни у нас состоялась встреча с Ицхаком Шамиром — тогда министром иностранных дел Израиля*. Леня спросил его, по-

* Шамир Ицхак (Езерницкий, 1915–2012) — израильский государственный и политический деятель. В школьные годы присоединился к молодежному движению «Бейтар». По окончании гимназии «Тарбут» в Белостоке поступил на юридический факультет Варшавского университета. В 1935 г. приехал в Эрэц-Израэль, где продолжил учебу в Еврейском университете в Иерусалиме. С 1937 г. — член Национальной военной организации (Эцель). После начала Второй Мировой войны вместе с другими членами организации вышел из «Эцеля», недовольный прекращением борьбы с англичанами. Принял участие в создании организации «Борцы за свободу Израиля» (Лехи), ведущей борьбу с англичанами террористическими методами. В 1941 г. арестован. После побега в 1943 г. сыграл выдающуюся роль в воссоздании организации и в руководстве ее деятельностью. В 1955–65 гг. работал в Моссаде (Израильская служба разведки). В 1970 г. вступил в Херут. С 1973 г. по списку Ликуда избран в Кнессет, с 1977 — председатель Кнессета. С марта 1980 г. — министр иностранных дел. В октябре 1983 г. — сентябре 1984 г. и в 1986–92 гг. — премьер-министр Израиля. После поражения Ликуда на выборах в Кнессет в 1992 г. вышел в отставку.

чему Израиль так мало помогает (практически не помогает вообще) движению израильских граждан в Советском Союзе. Шамир ответил: «Мы не можем себе позволить прямого давления на Советский Союз. Израиль страна маленькая, а Россия огромная, нам надо вести тихую, тайную политику». Я была поражена. Израиль воспринимался нами, да и вообще советскими людьми, как влиятельная сила на мировой арене. Размер страны никто во внимание не принимал. Я стояла напротив Шамира, и мне казалось, что передо мной маленький коренастый гном с горящими из-под густых бровей глазами. По обе стороны от него возвышались телохранители. Мне захотелось взять Шамира за пиджак и встряхнуть, — ведь от тебя зависят сотни людей! — но телохранители были профессионалами: невидимая стена разделяла нас. В этот же вечер я встречалась с представителями женских американских организаций. Они со смехом рассказывали, как на встрече с Ицхаком Шамиром в ответ на какие-то их требования он сказал: «Израиль страна маленькая, а Америка — большая, мы этого себе позволить не можем». Маленькие люди, маленькие страны... хотя история этого человека отнюдь не вписывалась в образ маленького руководителя маленькой страны.

Выезд из Советского Союза был тогда практически закрыт, а тут приехали мы — семья, которая была в самом центре движения отказников, и при этом я вполне сносно говорила по-английски. Кому и как я давала интервью, уже не помню, знаю только, что этих интервью было много. Но одно поразило мое воображение. «Алла, Алла, к тебе пришли». — прибежала ко мне в комнату мама. В центре гостиной стоял высокий японец, свободно говоривший на английском и на иврите. «Я делаю репортаж о советских евреях-отказниках. Не откажетесь ли вы дать интервью на эту тему японскому телевидению». Я согласилась, хотя ощущение театра абсурда меня не покидало.

Берта встретила с людьми из своей молодости, с теми, кто когда-то знал ее и ее школьных друзей, был знаком с довоенной жизнью Белостока. В Израиле существовало общество бывших белосточан. Встретила маму и познакомила ее с этим обществом Ева Крацовская, та самая Ева, которая ушла из Белостокского гетто к партизанам и спаслась от немецкой погони в выгребной яме. Когда советские войска освободили Белосток, Ева переехала жить в Белоруссию, в Гродно. Она знала, что мама спаслась и живет в

Москве. В 1956–57 годах, когда бывшим польским гражданам было разрешено вернуться в Польшу, Ева уехала в Белосток, звала она и маму, но к тому времени уже появилась я, требовалось разрешение моего отца на вывоз ребенка, отец разрешения не дал, и мама осталась со мной в Ялте. Через некоторое время Ева уехала с семьей в Израиль, где они с мамой и встретились в 1985 году.

Рассказы о гибели, трагедиях, чудесах спасения сыпались на маму со всех сторон. Через некоторое время ее нашел школьный приятель Аркаши, который ничего не знал о его гибели. Он жил в Париже и впоследствии долго поддерживал с мамой переписку. Центр выходцев из Белостока в Нью-Йорке прислал статью, опубликованную в журнале *Bialostoker Stimme* в 1983 году под названием «Жизнь белосточанки в Москве» — с нашей семейной фотографией на балконе нашей московской квартиры. Затем в 1985 году в этом же издании появилась статья, перепечатанная из газеты *Forward* под названием «Горестная дорога белосточанки в Израиль», — теперь уже с нашей семейной фотографией на балконе иерусалимской квартиры в центре абсорбции. Среди огромного количества писем в нашу защиту меня поразило письмо, написанное президентом США Рональдом Рейганом и посвященное судьбе моей мамы. Письмо было написано в ответ на обращение доктора Артура Фридмана. Я привожу это письмо целиком в моем собственном переводе:

БЕЛЫЙ ДОМ
ВАШИНГТОН
Ноябрь 1983

Уважаемый доктор Фридман!

Ваша преданность защите прав людей, угнетаемых советским режимом, особенно Берты Шаховской, поистине вдохновляет. Вы лично собрали около 3000 подписей в ее защиту и показали, как глубоко мы озабочены борьбой даже одной жертвы этой репрессивной тоталитарной системы. Право человека на эмиграцию — это то, что кремлевские руководители уважают только на словах. Но Вы можете быть уверены, что мы продолжим использовать все соответствующие дипломатические каналы, чтобы сделать все возможное и помочь Берте Шаховской воплотить в жизнь мечту об эмиграции.

Ваш Рональд Рейган

Различные организации (и еврейские, и нееврейские) активно поддерживали борьбу советских евреев за право на эмиграцию, но информации о происходящем было недостаточно. Россию от Запада все еще отделял железный занавес. Да, отдельные сведения тем или иным способом передавались на Запад, да, приезжали так называемые «посетители» под видом туристов. Но людей этих было немного, и не все они соглашались встречаться с отказниками. Многие просто боялись. Об этом я с удивлением узнала, встретившись с одной американской парой уже в Америке. Свою поездку в Советский Союз и встречу с нами они вспоминали как величайший подвиг в жизни. С гордостью рассказывали, как их досматривали на таможне, как, преодолевая страх, они разыскивали в Москве нашу квартиру и квартиры наших друзей. Теперь я понимаю, что они действительно совершали подвиг, приезжая из своих спокойных стран и попадая в атмосферу тотального произвола. С помощью наших заграничных посетителей мы передавали сведения о судьбе отказников, письма... Так на Запад была отправлена первая книга моего мужа «Дело Дрейфуса». Тема эта в СССР была запрещена, так что книга автоматически оказывалась запрещенной литературой. «Алка, гости приехали, можно передать несколько страниц», — радостно сообщал мне Леня. Я садилась и на тонкой папиросной бумаге убористым почерком переписывала текст книги. Гости вкладывали листы в подошву ботинок и так по частям вывозили текст из СССР.

В октябре 1985 года Лене и мне предложили рассказать о положении евреев в Советском Союзе. Направление наших поездок определилось языками, которыми мы владели. Леню, закончившего французскую спецшколу и вполне прилично говорившего по-французски, послали во Францию, а меня «в другую сторону» — в Канаду и Америку. В 1985 году выезд из СССР был еще закрыт, и мы с Леной представляли для этих организаций особый интерес — мы были не просто свидетелями, но и участниками движения. И так мы расстались. Лене предстояли выступления и встречи в разных городах Франции, в том числе в Европейском парламенте в Страсбурге. Я же, оставив Павлика в центре абсорбции на попечении мамы, вылетела в Канаду. Я приземлялась в Торонто, под самолетом полыхали красными листьями знаменитые канадские клены. Впереди меня ждали бесконечные выступления, интервью газетам и телевидению, встречи, расска-

зы, вопросы и ответы. Лица и дома, в которых я жила, сливались в один пестрый фильм. На этом фоне мне запомнилась демонстрация еврейских организаций Канады перед советским посольством в Монреале. Я держала плакат с надписью «Отпусти народ мой!», но, в отличие от окружающих, видела перед собой не народ, а моих друзей. Здание посольства казалось мрачным и покинутым. Все двери были закрыты, на окнах висели плотные шторы, которые изредка шевелились: за ними явно кто-то стоял и наблюдал за нами.

Через десять дней я покинула Канаду. Моя поездка по Америке началась со спокойной и провинциальной Небраски. Через несколько дней я вылетела в Вашингтон. Количество чернокожих людей в самолете, да и в самом городе меня поразило. Они казались мне пришельцами с другой планеты и даже вызывали некоторые опасения. При въезде в Вашингтон я увидела на обочине труп молодого чернокожего парня, вокруг было много полиции. Видимо, статьи в советской прессе о преступности в США не были исключительно антизападной пропагандой, как нам казалось. Мое первое выступление должно было состояться в огромной гостинице недалеко от Капитолия. В фойе гостиницы меня встретила Памела Коэн — та самая Памела (все ее звали Пэм), руководитель организации Chicago action for Soviet Jewry, которой я передавала информацию о происходящем и которая неизменно оставалась нашим важнейшим союзником. Мы обнялись. «В этой гостинице собралось огромное количество людей со всей Америки, так или иначе участвующих в борьбе за выезд советских евреев. Сможешь выступить перед ними?» — с тревогой спросила она. Моя внешность явно не соответствовала образу героини сопротивления: перед ней стояла уставшая молодая женщина с грустным лицом. Урок, как следует себя вести, я получила чуть позже в этой же гостинице. В буфете я оказалась в очереди за респектабельным пожилым американцем. «У вас что-то случилось?» — спросил он, посмотрев на мою унылую физиономию. «Нет, нет, что Вы», — ответила я. «Тогда улыбнитесь — и на людях всегда улыбайтесь, иначе вы никогда не преуспеете в жизни».

Я вышла на сцену и обвела глазами зал: он был огромным. Перед таким количеством народа мне еще не приходилось выступать. Все ждали, что я скажу, я была «оттуда». С тревогой и сомнением наблюдала за мной Памела. И я стала говорить — о детском саде

и воскресной школе, о движении израильских граждан и женском еврейском движении, о преследованиях и арестах, о ежедневных тревогах и страхах. «Но мы знали, что мы не одиноки, за нами стояли все вы, со мной была Памела Коэн», — закончила я свое выступление. Зал разразился аплодисментами. У Памелы в глазах стояли слезы. Я ее не подвела.

Следующие два дня я провела в здании Конгресса. В сопровождении двух-трех американских еврейских активисток мы ходили по его залам и коридорам. Меня поразило, что посетителей проверяли только на наличие оружия, документы никого не интересовали — ходи, броди, заглядывай в кабинеты (с 90-х годов из-за угрозы террора этой свободы передвижения уже не было). Неожиданно в одном из кабинетов мне предложили позвонить в Москву — кому-нибудь из друзей. Я обомлела, судорожно стала набирать по памяти телефоны своих друзей. Наконец один из них ответил. «Женька! — заорала я. — Это я, Алла. Звоню тебе из Вашингтона, из здания Конгресса. Представляешь, брожу по Капитолию, и никто меня не останавливает! Представь, что ты гуляешь по Кремлю!» Связь неожиданно прервалась. Я вдруг поняла, что реальность той жизни, жизни за железным занавесом, стала уходить от меня. Я разозлилась на себя: надо же, расслабилась!

Меня пригласили присутствовать на заседании Сената. Заседание проходило в старом здании Конгресса. Внутри между зданиями были проложены рельсы. Чтобы попасть из одного здания Конгресса в другое, можно было сесть в маленький вагончик. Я оказалась в одном вагончике с конгрессменом. «Откуда вы?» — спросил он меня. «Из Советского Союза, — лицо его напряглось, — но теперь я живу в Израиле». «А, вот оно что», — он приветливо мне улыбнулся, я уже была из другого мира, из его мира.

Затем были встречи с сенаторами и конгрессменами. Помню, как привели меня в кабинет Ричарда Люгара — председателя комиссии сената по международным отношениям: огромный стол, за столом сенатор, взгляд тяжелый, ожидающий, за спиной его скрещенные американские флаги. Пытаюсь за две отведенные мне минуты как можно эмоциональнее описать ситуацию с отказниками, ищу хоть какие-то признаки интереса на неподвижном лице этого могущественного чиновника, — и ухожу с чувством разочарования: кажет-

ся, не достучалась. Встречалась я и с Паулом Мартином Симоном, председателем демократической фракции сената, — одним из претендентов на пост президента от демократов: он проявил интерес, задавал много вопросов. Еще была забываемая встреча с американским космонавтом Джоном Гленом, сенатором от штата Огайо. Он очень серьезно занимался нашей проблемой и показался мне самым доброжелательным из всех, кого я там встретила.

Американские евреи активно включились в борьбу за выезд советских евреев. Лозунг «Never again» — «Никогда больше», стремление искупить вину за свою пассивную роль в Катастрофе европейского еврейства во время Второй мировой войны, желание не допустить новой катастрофы, — все это заставляло их действовать.

Из Вашингтона я вылетела в Цинциннати. После бесконечных выступлений и встреч моя речь была доведена до автоматизма. Там, в Цинциннати, я встретила пастора Давида Месика, главу Университетского фонда Уэсли*. Во время своего визита в Советский Союз он посещал нашу семью. Мы страшно друг другу обрадовались. Человек он был очень обаятельный и доброжелательный. «Ты могла бы выступить в моей церкви?» — попросил Давид (он был настоятелем методистской церкви). «Нет проблем, выступлю», — охотно согласилась я. Я повторяла привычный уже текст — и вдруг, внимательно всмотревшись в аудиторию, поняла, что передо мной сидят камбоджийцы, беженцы от режима Пол Пота. С этого момента я спотыкалась на каждом слове. Да, некоторые отказники сидели в тюрьмах, подвергались всевозможным преследованиям, многие остались без работы, — но тракторами нас не давили. Камбоджийцы слушали меня и доброжелательно кивали. В глубине души я надеялась, что они не вполне понимают мой английский.

Последним пунктом моего длинного и утомительного путешествия был город Майями. Выехав из холодного Чикаго в теплое пальто, я неожиданно для себя окунулась в тяжелую влажную жару Майями. Вот это тропики! У меня захватило дух от обилия диковинных деревьев, на каждом из которых росли еще и орхидеи, лианы с гигантскими листьями и цветами. Я ехала по Май-

* Университетский фонд Уэсли был создан в 1913 г. Объединенной методистской церковью для поддержки студентов-методистов. Функционирует в США, Канаде и Великобритании.

ями, буквально задыхаясь от буйства природы, иногда с трудом угадывая в этих гигантах их жалкие подобию, растущие в наших цветочных горшках. В парке, куда меня привели, чтобы дать немного отдохнуть и расслабиться, в небольших водоемах сидели мерзкого вида крокодилы, готовые сожрать каждого, кто к ним попадет. На ветках — огромные, отяжелевшие разноцветные попугаи. Мне предложили протянуть руки — и несколько попугаев уселись мне на руки и на плечи. «Теперь я понимаю, почему ты не боялась КГБ, — сказала сопровождавшая меня активистка местной еврейской организации. — Не каждый может посадить на себя такую кучу попугаев». Я про себя ухмыльнулась: такая интерпретация нашей деятельности мне в голову не приходила.

Мое первое выступление в Майями состоялось в зале роскошной гостиницы на Майями-Бич. Нас встретили привратники в ковбойских шляпах и раззолоченных ливреях. Проходил съезд еврейских феминисток Америки. Меня окружало невероятное количество роскошно одетых женщин. Первой выступила популярная в этой среде писательница-феминистка. «Мы все жертвы еврейских принцев», — с надрывом произнесла она. Зал взорвался аплодисментами. «Я опишу вам еврейского принца, — продолжала она. — «Где масло?» — вопрошает еврейский принц, усевшись за обеденный стол. «Масло в холодильнике», — объясняет ему жена. Принц нехотя поднимается, подходит к холодильнику и открывает его. «Где масло?» — вновь вопрошает он. «На полке перед тобой», — невозмутимо объясняет жена. Вот лицо наших мучителей!» — провозгласила писательница под громкий хохот и восторженные аплодисменты.

Мое выступление было следующим. «Господи, — думала я, — что я делаю на этом чужом празднике? Как я могу заставить этих благополучных и беспечных американок увидеть нашу жизнь там, в Советском Союзе? Как можно хоть на минуту заставить их вздрогнуть, заставить их испугаться нашим страхом?»

На следующий день в доме, где я жила, раздался звонок. «Вам звонят из телестудии штата. Нам сказали, что у вас в доме находится беженка из СССР. Мы хотим пригласить ее на интервью. Дело в том, что один моряк сбежал с советского судна и попросил политического убежища в США. Власти решают, что с ним делать. Может ли она, зная, что происходит в Советском Союзе, высказать свое

мнение о том, что ждет его по возвращении в Россию, если ему будет отказано в политическом убежище?» «Я не беженка! — пыталась возразить я. — Я репатриантка, у меня есть моя страна, моя вторая родина». Слово «репатриантка» для них ничего не означало. «Беженка, беженка, беженка», — стучало у меня в голове. Хорошо понимая, что ждет сбежавшего моряка после возвращения на родину, я пыталась объяснить это жителям и властям Майями. Надеюсь, хоть чем-то помогла этому отчаянному парню.

Я бродила одна по пустынному берегу осеннего океана. Надо мной возвышались огромные кокосовые пальмы, бескрайный, хмурый океан усиливал мое чувство одиночества. Мне уже так хотелось домой — к Пашке, к Лене, к маме. На набережной я зашла в маленький магазинчик, где продавали пластинки и кассеты. Моцарт, Бетховен, Чайковский... Как много моих любимых вещей осталось там, в России. Рядом со мной стоял смуглый продавец. «Ты знаешь, — неожиданно обратилась я к нему, — мне так не хватает моих любимых, привычных вещей. Я была вынуждена все оставить, покидая Россию». «Я хорошо понимаю тебя, — ответил он. — Мы бежали с Кубы от режима Кастро, и все, что мы так любили, осталось там». Так неожиданно в этом кубинском эмигранте встретила я родственную душу.

Через полтора месяца я вернулась домой в Иерусалим, обняла соскучившегося по мне моего сына-хулигана Пашку, расцеловала маму и выслушала ее жалобы на трудности в воспитании внука, — и мы с Леней стали рассказывать друг другу о наших встречах и впечатлениях. Я очень устала и несколько дней не могла видеть людей, мне надо было побыть одной. На нас стали наваливаться житейские проблемы. Встречи и выступления между тем продолжались. В рамках общественных организаций мы пытались помочь отказникам. Я выступала перед студентами, на съездах женских организаций, пытаюсь объяснить суть нашего женского движения. Но эта деятельность отходила на второй план. Когда ко мне пришел журналист, чтобы взять интервью для какой-то американской газеты, я не выдержала: «Пойми, — сказала я, — раньше мне приходилось думать, как бороться с советскими властями или как помочь моим друзьям, а теперь — еще и где достать денег на холодильник». Он опешил: я выпадала из образа.

Бесчисленные проблемы — непривычная обстановка, климат, чужой язык, поиски работы и квартиры — все это изматывало. Вот-вот должна была начаться та уютная, ясная и простая человеческая жизнь, которая рисовалась нам там, в отказе, но она не начиналась. Напряжение прорывалось нервными срывами. Вот Леня возвращается домой — в нашу квартиру в центре абсорбции — и раздраженным тоном что-то выговаривает не вовремя появившейся Берте. Берта, закаленная в баталиях с соседями в общей ялтинской квартире, бросается в атаку на обидчика. Разгорается скандал. На балконе, на фоне безоблачного синего иерусалимского неба я вижу две фигуры — маленькая полноватая Берта и возвышающийся над ней Леня. Кричат, размахивают руками. Берта явно сдает позиции. И вдруг: «В Освенциме мне было лучше!» — выпаливает она последний — сногшибательный! — аргумент. Растерявшись, Леня замолкает. Берта с гордо поднятой головой поступью победительницы удаляется в свою комнату. «Теща утверждает, что оберштурмбанфюрер СС был гораздо гуманнее меня, а она знает, что говорит», — с грустью говорил мой муж.

Однажды к нам приехал кибуцник. Не хотим ли мы с Леней приехать в кибуц и рассказать им о Владимире Бродском? Бродский, наш близкий друг, к тому времени уже второй год сидел в тюрьме, и члены кибуца взяли над ним шефство. Они заваливали советские власти письмами с требованием освободить узника Сиона. Мы охотно согласились. Кибуц! Так много слышали и так мало знали. Это был небольшой кибуц Гал'он, расположенный вблизи пустыни Негев, уютный, зеленый и по-деревенски тихий. После нашего выступления на общем собрании и рассказов о Володе нам показали кибуц. Экскурсоводом был толстый добродушный кибуцник по имени Мордехай. Его родители в годы Гражданской войны бежали из России в Северный Китай, где была влиятельная русская эмиграция, насчитывавшая большой процент евреев, а после окончания Второй мировой войны уехали в США, и оттуда в конце 40-х годов Мордехай приехал в Израиль. Мордехай прекрасно знал историю, философию и множество языков, он засыпал Леню вопросами. Наконец он повел нас смотреть гордость кибуца — коровник. Каждая корова сияла чистотой и, покачивая тяжелым выменем, слушала музыку Моцарта. Навстречу вышли работники коровника — юно-

ша и девушка, студенты Стэндфордского университета; они приехали в кибуц добровольцами, а уход за коровами считался самым престижным занятием. Нас поселили у себя Шалом и Яффа Пинчук. И Шалом, и Яффа были выходцами из Польши, из небольших польских городков, во время войны они успели бежать на территорию Советского Союза, а сразу после войны вернулись в Польшу. Они стали активными участниками еврейского молодежного движения «Дрор»*, собиравшего остатки выживших в Катастрофе евреев, и прибыли в Израиль на знаменитом корабле «Эксокус»**. На этом корабле они и познакомились друг с другом. Шалом и Яффа были удивительно добры и заботливы. Мы всем сердцем полюбили их. Они неоднократно помогали нам и всегда нас поддерживали в нашей нелегкой абсорбции в Израиле. Когда Павлику исполни-

* «Дрор» — левое еврейское молодежное социалистическое движение, созданное в 1915 г. в Российской империи. В «Дроре» в основном участвовала интеллигентная еврейская молодежь. Члены движения вели подготовку к переселению в Палестину, создавали кибуцы. В 1920–30 гг. после разгрома сионистского движения в Советском Союзе центр «Дрора» переместился в Польшу, но движение действовало в различных странах Европы и Латинской Америки. Во время Второй Мировой войны «Дрор» сыграл выдающуюся роль в организации еврейского сопротивления, а после окончания войны — в нелегальной иммиграции в Палестину. В Израиле движение создало несколько кибуцев.

** «Эксокус» (лат. «Исход») — название судна, на котором активисты созданной в подмандатной Палестине организации «Мосад ле-Алия Бэт» (Организации нелегальной эмиграции) летом 1947 г. отправили в Палестину 4515 евреев, переживших Катастрофу, — отправили вопреки запрету английских властей. В июле 1947 г. судно было перехвачено английскими военными кораблями у берегов Палестины и подверглось штурму. Пассажиры и экипаж судна оказали отчаянное сопротивление. Три человека были убиты и двадцать ранены при захвате судна английскими моряками. Британские власти приняли решение вернуть беженцев в страны исхода, однако беженцы, доставленные на британских судах во французский порт, наотрез отказались сойти на берег, после чего были отправлены в Гамбург, а оттуда в английские лагеря для интернированных лиц близ Любека. Грубое насилие со стороны английских моряков и заключение жертв Катастрофы в лагеря на территории Германии вызвали широкую волну протеста во всем мире. После образования государства Израиль пассажиры судна репатриировались в Израиль.

лось двадцать шесть лет, он стал участником телевизионного израильского реалити — шоу под названием «Шагрир» — «Посол». На конкурс для участия в передаче было подано четырнадцать тысяч заявок, в заключительный тур вышли десять парней и десять девушек. Они соревновались, кто лучше сможет представить Израиль на разных континентах — в Африке (Уганда), Европе (Швеция), России (непонятно, к какому континенту ее отнесли) и США. Выйдя в этой передаче в финал, Павлик стал весьма популярен среди израильтян. Каждый финалист должен был рассказать о своем любимом месте и о своем любимом человеке в Израиле. Пашка сказал, что его любимое место — это кибуц Гал'он, а любимый человек — Яффа. «В кибуц не поедem, слишком далеко», — запротестовала съемочная группа. «Тогда я уйду из программы», — ответил Павлик. Делать было нечего, поехали. На экране телевизора они смотрелись забавной парой — крошечная, едва достающая головой до Пашкиной груди задорная седая старушка и нависающий над ней огромный Пашка, он нежно, осторожно обнимает ее — боится раздавить. «Аллочка, — с гордостью рассказывала мне Яффа, — обо мне писали все кибуцные газеты и даже показывали по кибуцному телевизору». К сожалению, это был наш последний разговор. Через некоторое время Яффы не стало.

Мы все больше и больше погружались в эмигрантские проблемы. Все надо было начинать заново, ведь нам разрешили вывезти только по тридцать килограммов личных вещей на человека. Как отзвук той, другой жизни пришла открытка от Мартина Гильберта с приглашением на его пятидесятилетие, на котором должна была присутствовать королева. Я даже не стала объяснять ему, что у меня нет денег для поездки.

К тому же у меня должен был родиться второй ребенок. В этот день Леня сказал: «Алка, в Израиль приехал Ив Монтан, он интересуется проблемой советских евреев, нам организовали встречу, мы сможем попросить его заняться судьбой Бродского». «Ив Монтан!»

* Ив Монтан (настоящее имя Иво Ливи, 1921–1991) — французский киноактер и певец-шансонье. В 1970–80-е гг. Ив Монтан и его жена, актриса Симона Синьоре, поддерживали борьбу за права человека в Советском Союзе и участвовали в компании солидарности с евреями, желавшими выехать из Советского Союза.

Сам Ив Монтан!» — мое сердце остановилось. — Не поеду! В таком виде перед Ивом Монтаном не предстану!» — «Но не могу же я оставить тебя одну». — «Ладно, — сказала я, — только на минутку заедем в больницу». Встреча с Ивом Монтаном не состоялась: в эту ночь у меня родилась дочь. Мы назвали ее Мири, Мирьям, в честь Лениной бабушки. Пашка, увидев новорожденную сестру, сказал: «Разве это человек, это же мышка, таких крохотных людей не бывает». Так у нас в семье повелось звать Мири Мышкой. До сих пор близкие друзья Мири — израильтяне зовут ее Мишь, не очень понимая значение этого слова.

Мы начали работать. Я — микробиологом в больнице, Леня — научным редактором «Краткой еврейской энциклопедии», издаваемой Еврейским университетом в Иерусалиме. Берта получила от государства квартиру и пенсию. Мы взяли ссуды и купили небольшую квартиру в десяти минутах ходьбы от нее. Вызывала она меня часто. Причины были разные.

«Алка, по моей квартире бегают маленькие крокодильчики». Представив себе мамину квартиру с бегающими по ней крокодилами, я немедленно отправлялась к ней. «Где крокодилы?» — встревожено с порога выпаливала я. «Вон там сидит». Из-под шкафа на меня смотрела, выпучив глаза, маленькая зеленая ящерица, невесть как проникшая в комнату с балкона.

Привыкать к новой жизни было непросто. Однажды друзья подарили нам старый телевизор, не предупредив о том, что за пользование телевизором надо платить налог (министерству телерадиовещания). Потом вместо старого телевизора мы купили новый. Телевизор был окном в израильский мир, все еще не очень нам понятный. Каждый вечер мы смотрели новости — события в Израиле сменяли друг друга стремительно.

Через полгода пришли гости: двое полицейских и налоговый инспектор. «В связи с неуплатой мы изымаем ваш телевизор». Мы все — Берта, Пашка и я — замерли от ужаса. Первой опомнилась Берта. «Не дам, — завопила она, заголив руку и поднося к глазам растерявшихся полицейских выступающий на руке освенцимский номер. — Я бывшая узница Освенцима, не допущу!»

Семилетний Пашка, повиснув на брюках налогового инспектора, орал во весь голос. «Меня заберите в тюрьму вместо телеviso-

ра, меня, муж придет с работы, не увидит телевизора — убьет», — заламывала я руки. Полторагодовая Мири, не понимая, что происходит, ползала у всех под ногами и захлебывалась от плача. Полицейские ретировались, прихватив с собой вместо телевизора радиоприемник.

Наступил 1987 год. К нашему удивлению и радости, политика Советского Союза стала меняться, наступал период «перестройки и гласности». Выпустили из тюрем отказников, приехал счастливый, наголо обритый, — типичный зэк! — Бродский, начали приезжать друзья и знакомые. Наша эпоха стремительно уходила в прошлое. Приехала Белла, Ленина мама, не выдержав одинокой жизни в Москве. Она была полной противоположностью Берте. Белла родилась в Москве в семье богатого аптекаря Льва Матисса. Его аптека находилась на Земляном валу. К моменту ее рождения в 1924 году семья уже потеряла и аптеку, и коллекцию картин Серова и Ярошенко, и огромную шестикомнатную квартиру на Маллоросейке в центре Москвы. Но семейные рассказы о былом благополучии позволяли Белле ощущать себя аристократкой в окружающем ее мире. Статная, со светлыми волосами, зелеными глазами и несколько тяжеловатым, скорее прибалтийским лицом, она свысока взирала на Берту, немосковское, да и нероссийское происхождение которой принять не могла. «Не еврейка она, — нашептывала мне Берта, страдая от такого к себе отношения, — таких евреев не бывает, ее в роддоме подменили».

Приехав в Израиль, Белла почувствовала себя неуверенно. К выходцам из России местные относились свысока, тем более что большая часть бывших советских граждан никаким языком, кроме русского, не владела. Многие простые израильтяне представляли себе Россию как огромное холодное пространство, сплошь покрытое лесами, — Сибирь, одним словом. Поговаривали, что даже в Москве по окраинам бродят медведи.

Белла решила примириться с Бертой: «Вы знаете, Берта Ефимовна, здесь неплохой русский клуб неподалеку, давайте вместе ходить». Берта торжествовала. Слегка отстранившись, выдержав для солидности паузу, она бросила: «Я в ваши русские клубы не хожу и вообще к вам, русским, никакого отношения не имею, у меня польские есть!» Белла растерялась.

Мы медленно привыкали к жизни в Израиле. Дети росли. К нам стали приезжать гости из России. Мы охотно принимали их, Леня с удовольствием показывал им Иерусалим, особенно Старый город, да и всю нашу маленькую и такую разнообразную страну. Однажды в 1995 году к нам приехал наш старый друг, писатель Сергей Каледин. Ленинградский Малый драматический театр привез спектакль Льва Долина «Гуадеамус» по повести Каледина «Стройбат». Сергей появился у нас в доме: яркий, шумный, веселый, — в наше размеренное существование ворвался вихрь. Мы кутили, веселились, рассказывали друг другу всевозможные байки, путешествовали по стране.

Мелкие приключения поджидали Каледина повсюду. Центр Иерусалима. Мы с компанией сидим в кафе. К Сергею подходит неизвестно откуда взявшаяся девушка в костюме голландской цветочницы, с корзинкой цветов в руках. Что-то шепчет ему, он не понимает. «Не хочет ли ваш спутник провести со мной время», — обращается она ко мне. Услышав перевод, Сергей изумленно улыбается. Видя его колебания, девушка прибавляет: «Передайте вашему спутнику, что мною все были довольны». Каледин в благодарность за бесплатный спектакль покупает у нее цветы и раздает присутствующим дамам.

Когда мы путешествовали с Калединым по Израилю, меня поражало то, как он умел придавать значение всему, что видел. Даже мне это помогало по-новому взглянуть на окружающее. «Смотри, — сказал он мне, когда мы гуляли по нашему району в Иерусалиме, — город-то сливается с небом».

Через год Каледин прислал нам свою повесть «Тахана мерказит», — «Центральная станция». Герой повести Петр Иванович Васин попадает в силу ряда обстоятельств в Израиль и останавливается у нас в доме. Задыхаясь от смеха, я читала забавные сцены, разговоры, узнавала бурные разборки наших детей, узнавала Иерусалим, увиденный глазами Каледина-Васина. Однажды прихожу с работы, настроение страшное. Чтобы хоть как-то развеяться, решаю дочитать повесть. И вот последний абзац: «В автобусе зажегся свет. Ребенок в кулке заплакал. Петр Иванович перегнулся через проход, потянулся рукой к сморщенному смуглому личику, отвлекая дитя от плача, но женщина резко оттолкнула его

руку и встала. Мгновение она смотрела на пассажиров огромными, сумасшедшими, невидящими глазами, губы ее кривились...

— Аллах ахбар! — выкрикнула она.

И сорвала с ребенка одеяло. Петра Ивановича разодрало на месте. В проходе, отброшенный взрывом назад, помирая, медленно сучил ногами Пашка».

У меня потемнело в глазах, книга выпала из рук и я в холодном поту откинулась на спинку дивана. В этот день, впервые в истории Израиля, возле центральной автостанции в Иерусалиме был взорван автобус, в котором террористом-самоубийцей была женщина. Каледин за полтора года предсказал случившееся. Пашки там, слава Богу, не было.

Когда Мири исполнилось шестнадцать лет, мы решили показать ей Москву. Говорила она по-русски с сильным акцентом, понимала лучше. В первые же дни в Москве мы поехали на дачу к Сергею Каледину. Он взял нас собой к соседям, где за столом, уставленным выпивкой и закусками, собралась большая шумная и веселая компания. У двери сидел кот — роскошный, пушистый и вальяжный, совсем не похожий на наших иерусалимских котов, стаями обитающих у каждого мусорного бака. Те были короткошерстные, худые, небольшого кошачьего роста с торчащими вверх острыми ушами, с огромными глазами на треугольных мордах — пришельцы, да и только. «Василий Иванович хочет выйти, — заволновались гости, — откройте двери Василию Ивановичу». «Кто такой Василий Иванович? — спросила Мири. «Это вон тот кот, у двери», — пояснила я. Затем гости затянули знакомые песни. «Мурка, ты моя милая...» — надрывался стол. «Ты все поняла?» — спросила я Мири. «Да, поют о кошке Мурке». — «Да нет, Мурка — это девушка». Мири призадумалась. «Странные люди эти русские, — сказала она, — котов называют человечьими именами, людей — кошачьими». Потом вдруг кто-то вспомнил, что за столом иностранные гости, и вежливо спросил: «Мири, а как, не страшно у вас, взрывают все-таки?»

Шел 2002 год. Теракты совершались едва ли не каждую неделю, мы возили Мири в школу на машине, чтобы она не ездила на автобусе. Люди не выключали радио, ждали новостей. «Как хорошо русским детям, — говорила мне Мири, — они могут находиться в толпе и не бояться».

И вдруг на заданный в разгар застолья вопрос последовал ответ: «Мы все, и мальчики, и девочки, мечтаем окончить школу и пойти в армию, чтобы сражаться с арабским врагом!» Гости замерли, замерла и я, с удивлением посмотрев на Мири.

На следующий день Каледин решил свести двух главных прототипов своей повести «Тахана мерказит» — Мири Прайсман и Владимира Ивановича Меркулова (в книге Петр Иванович Васин). Владимир Иванович Меркулов евреев не жаловал. «Вот мои гости из Израиля», — весело представил нас друг другу Сергей. Меркулов долго присматривался, ситуация была не стандартная. Потом, когда сели за стол, не выдержал: «А почему евреи уезжали из России в начале XX века?» Знакомая, хотя и забытая уже интонация заставила меня насторожиться. Мири тоже напряглась. Она решила, что проверяют ее знания по истории. «Это мы учили в школе, — бодро, с тяжелым акцентом проговорила она. — Погромы начала века в России заставили евреев покинуть страну и искать убежища в других странах». Помолчав, Меркулов задал свой самый сокровенный, долгие годы мучивший его вопрос: «А зачем евреи добавляют в мацу кровь христианских младенцев?» — выпалил он глухим сдавленным голосом. «Это мы учили в школе, — произнесла Мири тоном первой ученицы. — Наветы существуют у разных народов на протяжении всей истории человечества. Это — один из самых распространенных наветов». Меркулов что-то буркнул себе под нос и больше вопросов не задавал. Мири вопросительно взглянула на меня: правильно ли она ответила, не сделала ли ошибки? Я смотрела на Каледина, — он сидел, развалившись в кресле, и довольно улыбался: встреча удалась.

Шли годы. Берта старела. Чувствовала она себя уже совсем плохо и редко выходила из дому. Я навещала ее практически каждый день. Оставаясь наедине, мы с ней по-прежнему совершали наше традиционное путешествие по ее прошлому, вспоминали ее близких, друзей, одноклассников, снова и снова проходили по страшным дорогам Катастрофы. Я задавала уже сотни раз заданные вопросы и получала на них сотни раз услышанные ответы. Однажды к маме приехала съемочная группа, которою прислал фонд Спилберга. Они собирали свидетельства людей, переживших Катастрофу. В Иерусалиме находилось Международное хри-

стианское посольство. Делегации христиан из двух-трех человек приходили к маме. Как правило, при этих визитах присутствовала и я — в качестве переводчика. Люди (как правило, женщины) приезжали из Америки, Австралии, Германии, Австрии, Англии, из различных стран Центральной Европы. Они приносили маме маленькие, часто трогательные подарки: вручную вышитые салфетки, скатерти, сделанные из сухих лепестков аппликации, рисунки. Они расспрашивали маму о ее судьбе, сочувствовали, переживали. Потом всегда наступал момент, когда они становились на колени рядом с мамой, складывали руки, закрывали глаза и молились. Слова молитв произносились шепотом, я их не понимала. Просили они прощения или просто молились о спасении души? Я всегда чувствовала странный трепет при этом. А Берта? Она смотрела на меня, насмешливо прищурилась глазами, и украдкой, так, чтобы никто не заметил, подмигивала мне. Ее отношения с Богом были довольно сложными. Сколько раз говорила она мне:

«Где был Он, когда люди шли в печи, когда они протягивали к небесам руки и молили Его: «Шма Израэль»?»

Где был Он, когда красивые, смуглые греческие девушки в молитве воздевали руки к небу по дороге в газовые камеры?

Где был Он, когда маленьких детей вырывали у матерей, а жен у мужей?

Религиозные и нерелигиозные, все просили у Него защиты, а Он не откликнулся. Это Он допустил такую страшную, невыносимую трагедию Своего избранного народа».

Берта не была атеисткой, но глубокая обида на Бога заставила ее отвернуться от него. Я не унаследовала этой обиды, — и никакого религиозного чувства, впрочем, тоже.

В начале 2004 года мама серьезно заболела. Ее положили в больницу, и врачи сказали, что жить ей осталось недолго — медицина была уже бессильна. Я попросила врачей ничего не говорить ей о ее состоянии. Сидя у постели, я старалась бодрим голосом рассказывать о наших совместных планах на будущее. «Ты знаешь, Алка, — как-то сказала она мне, — я очень много пережила в жизни, многое преодолела, но на этот раз мне это преодолеть уже не удастся».

Мири вместе с классом уезжала в Польшу. Они должны были посетить Варшаву, Краков, Освенцим, Майданек. Перед поездкой в

Польшу со школьниками работали психологи — у многих родственники погибли в Катастрофе, детей нужно было подготовить к тому, что их ожидает. Зная, что ребята могут столкнуться с проявлениями антисемитизма со стороны поляков, им объясняли: «Вы можете столкнуться с ненавистью, не пытайтесь противостоять ей — ненависть это самое сильное чувство, присущее человеку, справиться с ним невозможно». Вернувшись из поездки, Мири пришла к Берте в больницу. Показывая фотографию ребят на фоне памятника жертвам Треблинки, она сказала: «Бабушка, я так горжусь тем, что ты смогла перенести весь этот ужас и найти в себе силы жить дальше». «Какие замечательные дети, — сказала мама, рассматривая фотографии, — как жалко, что их никого нет в живых». Мири отшатнулась. Берта уже плохо воспринимала действительность.

Состояние Берты резко ухудшилось. Я с тревогой наблюдала за ней. «Почему у тебя такое печальное лицо?» — спросила она. «Мама, мне очень грустно, что ты плохо себя чувствуешь», — сказала я, с трудом сдерживая слезы. «Еще бы тебе не было грустно, ты же теряешь мать». Я не выдержала и, согнувшись в три погибели, сотрясаясь от рыданий, вылетела из палаты в коридор. За мной бросился какой-то молодой человек: «Разреши помочь тебе. Я психолог из Америки, здесь в качестве добровольца, пытаюсь помочь родственникам умирающих. Я хочу помочь тебе». «Оставь меня, мне необходимо успокоиться», — взмолилась я. Потом зашла в туалет, вымыла под краном лицо, привела себя в порядок и вышла в коридор. Психолог ждал меня. «Я хочу тебе помочь», — вновь обратился он ко мне. «Ты не сможешь мне помочь, ведь я не просто теряю мать, вместе с ней уходит от меня целый мир — Польша, моя погибшая семья, которую я никогда не знала...». «Какой ужас! — произнес он, пристально вглядываясь мне в лицо. — Ты же всю жизнь была ее психотерапевтом, только в отличие от профессиональных психотерапевтов у тебя не было защиты».

Я сидела у маминой постели. Она была уже без сознания и тяжело, с перерывами дышала. Дети и Леня непрерывно звонили мне и уговаривали приехать домой. С невероятно тяжелым чувством я вернулась домой. Мы сели за стол. Был субботний вечер. Вдруг что-то случилось со мной. Я отставила еду и в полной тишине, наступившей за столом, впервые в жизни произнесла «Шма

Исраэль...» Через пятнадцать минут позвонили из больницы: пятнадцать минут назад Берты Сокольской-Шаховской не стало.

Берта умерла 27 февраля 2004 года на восемьдесят третьем году жизни. Мы похоронили ее на Иерусалимском кладбище, а на памятнике высекали названия концлагерей, в том порядке, в котором она всегда их повторяла: «Здесь лежит узница Майданека, Освенцима, Берген-Бельзена».

Целый год мне снились мучительные сны. Я видела во снах маму, ее смерть все время оказывалась ошибкой, недоразумением, я всячески пыталась помочь ей, но у меня как-то все время не получалось. В ночь, когда исполнился ровно год после ее смерти, мне приснился странный сон. Я в космосе, вокруг меня на темном, практически черном небе сияют яркие крупные звезды. Вдруг откуда-то появляется белое пушистое облачко и из него льется мамин голос. Такой молодой, веселый, счастливый. Такой, какой я никогда не слышала у нее при жизни. Голос сопровождается звонким, беззаботным смехом. Из облачка ко мне тянутся мамины руки и голосом, наполненным счастьем, она обращается ко мне:

— Алка, летим со мной, здесь так здорово, весело, так хорошо.

Облачко не стоит на месте, оно как будто порхает между звездами.

— Я не могу, мама. Я должна вернуться домой. Меня ждет Леня, дети, я им еще нужна там, внизу.

— Ну, как хочешь, — беззаботно говорит она и, сделав последний виток, исчезает в космическом пространстве.

Больше мне мама никогда не снилась.

Эпилог

В октябре 2011 года, когда мне должно было исполниться пятьдесят пять лет, я с грустью думала, как отпраздновать эту дату. Неожиданно мне предложили полететь в Нью-Йорк. Там в музее Холокоста проходила выставка фотографий и документов, посвященных борьбе советских евреев за выезд. Меня пригласили на выставку как очевидца тех событий. На открытии собралось много бывших американских активистов, помогавших советским евреям бороться за выезд из СССР. Зал, где проходила выставка, находился в глубине музея. Я шла по залам, где висели увеличенные фотографии немецких концлагерей, а затем входила в зал, где была выставлена экспозиция, отражавшее мое прошлое в Советском Союзе. Куратор выставки попросила меня сказать несколько слов гостям, собравшимся на торжественное открытие. «У тебя есть только пять минут, больше времени мы выделить тебе не можем». Я вышла к микрофону. Передо мной было много знакомых, незнакомых и — большей частью — давно забытых людей: бывшие студенты, участвовавшие в борьбе за наше освобождение, раввины, конгрессмены, сенаторы. Вот мелькнуло сильно постаревшее лицо космонавта Джона Глена. Многих имен я уже не помнила. Сказала я приблизительно следующее:

«Я уехала из Советского Союза в Израиль в 1985 году. Приехав сразу после этого в Америку, я выступала в Конгрессе США, синагогах, церквях, в университетах. Я обращалась ко всем вам с просьбой о помощи. Мое сердце обливалось кровью при мысли о моих товарищах, обо всех тех, кто остался там, в Советском Союзе, и подвергался гонениям со стороны советского режима. И вот прошли годы. Уже нет той страны, нет того железного занавеса, который отделял два мира. Все, кто хотел, давно уехали из Советского Союза. Я стою перед вами, обычный человек, часть этой выставки, часть Истории. Спасибо вам всем за то, что вы для нас сделали».

Спасибо.

Слова признательности

Трагедия, которую пережила моя мать Берта Сокольская-Шаховская, с раннего детства вошла в мое сознание и в дальнейшем отразилась на выбранном мною жизненном пути. События, ставшие основой этой книги, — и те, о которых рассказывала мне мама (ситуация в Польше 30-х годов, жизнь в Советском Союзе в 40–50-е годы), и те, в которых участвовала я сама (например, мои встречи с официальными лицами во время борьбы за выезд из СССР), — требовали не только литературного изложения, но и знания истории, бесчисленных проверок и уточнений.

Я хочу выразить благодарность историку, председателю Центра «Холокост» Илье Альтману. Когда я рассказала ему о своем желании написать книгу о своей маме и о том, как ее история отразилась в моем детском восприятии, он поддержал меня и в дальнейшем сделал ряд ценных замечаний, а также помог в издании книги. Я благодарна писателю Сергею Каледину. Во время встречи с ним в Москве я сказала о том, что хочу написать «воспоминания в воспоминаниях», он спросил: «Что, Пепел Клааса стучит в мое сердце?» И добавил: «Пиши, пиши как пишется, только коротко, четко, ясно, без рассуждений». Так и была написана эта книга.

Я благодарна художнику Григорию Брускину: будучи хорошо знакома с его творчеством, зная, что многие его работы отражают исторический период, которому посвящена книга, я попросила его предоставить одну из его работ для обложки. Прочитав рукопись, он прислал изображение скульптуры «Воспоминание об Альгамбре», — пронзительный и точный образ того, о чем я пишу.

Я благодарна литературоведу Ирине Винокуровой и ее мужу Александру Колчинскому за ценные замечания; историку Роману Городницкому, писателю, журналисту и литературному критику Сергею Костырко, историку Михаилу Бейзеру за ценные советы; Ирине Сокольской, двоюродной сестре Берты, за воспоминания о Берте в 1946–47 гг.

Особую, глубокую признательность я выражаю своему мужу, историку Леониду Прайсману, автору исторических комментариев, первому моему читателю, — за моральную поддержку во время написания этой книги, книги, которая потребовала от меня колоссального эмоционального напряжения.

Содержание

Юлий Эдельштейн. Предисловие	3
Алла Шаховская. «Я пережила Освенцим»	4

Алла Шаховская

«Я прошла Освенцим»

Научный редактор *Л. Г. Прайсман*
Литературный редактор *М. Астина*
Дизайн обложки *Д. Черногаев*

В оформлении обложки использована работа *Гриши Брускина*
«Воспоминание об Альгамбре» 2001–2003 год, крашенная бронза

Сдано в набор 01.12.2014. Подписано в печать 20.12.2014.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,25. Тираж 500 экз. Заказ

Издательство «МИК».

Москва, ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 52
Лицензия на издательскую деятельность
№ 060412 от 14 января 1997 г.

Центр «Холокост»

115035, Москва, ул. Садовническая, 52/45.